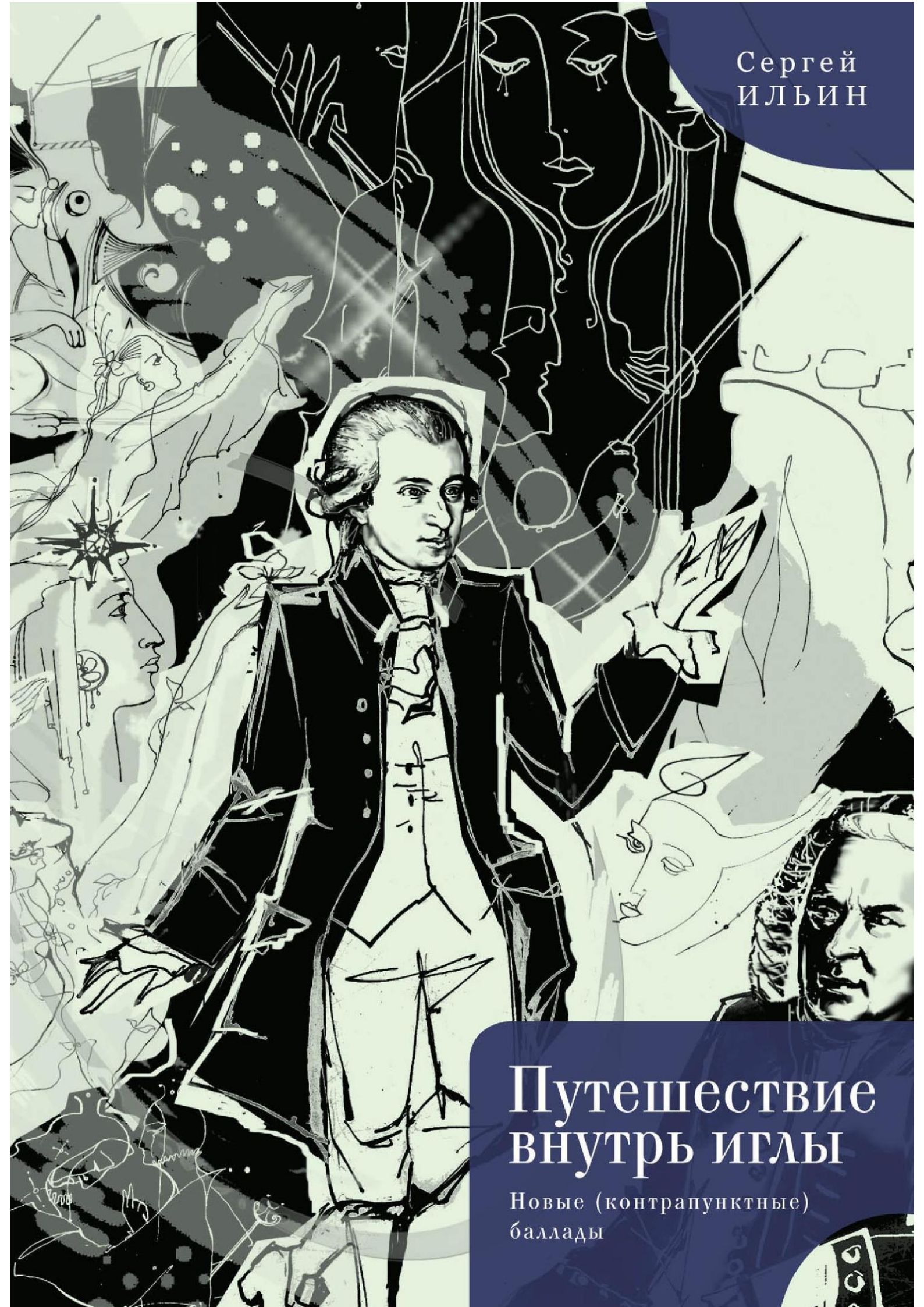




Сергей
ИЛЬИН

Путешествие внутри иглы

Новые (контрапунктные)
баллады

Сергей Ильин

**Путешествие внутрь иглы. Новые
(конструктивные) баллады**

«Алетейя»

Ильин С.

Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады /
С. Ильин — «Алетейя»,

ISBN 978-5-907189-96-6

В настоящую книгу включены 137 контрапунктных баллад. Это абсолютно новый жанр. Контрапунктная баллада состоит из строго чередующихся стихов и преимущественно эссеистской прозы. Иногда стихи – это просто стихи, а иногда и гораздо чаще – баллада в чистом виде. Но в любом случае стихи и проза, дополняя друг друга, как раз и создают стилистически новаторское, балладное звучание... Почему, собственно, баллада? Да потому что все в мире, по убеждению автора, если брать только сердцевину, есть баллада. Сотворение мира – баллада. И вечное бытие тоже баллада. Рождение и гибель цивилизаций – баллада. И уж конечно, любая человеческая жизнь, если выразить ее предельно кратко и динамично, будет тоже балладой... Отсюда прямо следует, что баллада зиждется на самом существенном событии: будь то внешнем или внутреннем. А не такое ли именно событие лежит в основе как нашей жизни, так и искусства? Ведь должен быть сюжет, а как он рассказывается – от начала к концу, от конца к началу или от середины к началу и концу, не столь важно. Так что балладный рассказ о психических коллизиях и даже метафизических проблемах, от века волнующих ум и сердце человеческое, есть прямое жанровое дополнение к так называемой «классической балладе», образцам которой автор тоже не забыл уделить должное внимание.

ISBN 978-5-907189-96-6

© Ильин С.

© Алетейя

Содержание

Предисловие	6
I. Баллада о Бегстве от Последнего Динозавра	11
II. Баллада о Моей Второй Родине	19
III. Баллада о Нескромном Взгляде	22
IV. Баллада об Откровении Посреди Толпы	24
V. Баллада об Анфасе и Профиле	28
VI. Баллада о Возвращении	36
VII. Баллада о Сопряжении Сказки и Были	55
VIII. Баллада о Старшей Сестре	57
IX. Баллада об Эльфах и Листьях	62
X. Баллада о Детстве во Время Болезни	64
XI. Баллада о Тонком Холоде	69
XII. Баллада о Небе	72
XIII. Баллада о Турецкой Забегаловке	79
XIV. Баллада о Чаевых	81
XV. Баллада о Серой Мыши	83
XVI. Баллада о Самой Большой Удаче в Жизни	87
XVII. Баллада о Моей Хорошо Состарившейся Маме	91
XVIII. Баллада о Трех Соседях	96
XIX. Баллада о Собаке	100
XX. Баллада о Любимом Коте	102
XXI. Баллада о Человеческом и Божественном в Природе	105
XXII. Баллада о Бомже с Собакой	107
XXIII. Баллада о Слепой Женщине	110
XXIV. Баллада об Обыкновенных Вещах	116
XXV. Баллада об Ахиллесовой Пяте Поэзии	120
XXVI. Баллада о Силе и Славе Поэзии	123
XXVII. Баллада о Поэтическом Вымысле	130
XXVIII. Баллада о Снежной Фее	132
XXIX. Баллада о Яне Гусе	135
XXX. Баллада о Тайной Несовместимости	137
XXXI. Баллада об Осеннем Пейзаже с Человеком	141
XXXII. Баллада о Точном Сопоставлении	145
XXXIII. Баллада о Гносеологии Гномов	147
Конец ознакомительного фрагмента.	152

Сергей Ильин

Путешествие внутрь иглы. Новые (контрапунктные) баллады

Предисловие

Бесполезно что-либо кому-либо доказывать. Эффект выйдет противоположный. Но объяснить желательно. И даже необходимо. В противном случае вас просто не поймут. А ведь счастье, как известно, – это когда вас понимают.

Итак, почему – баллады? И почему – контрапунктные, то есть состоящие из строго чередующихся стихов и эссеистской прозы? Ну, во-первых, в жанре стихов я больше всего люблю и ценю балладу. Она основывается на событии. А событие – сердцевина любого искусства. Ведь должен быть сюжет, а как он рассказывается – от начала к концу, от конца к началу или от середины к началу и концу, не столь важно. Да, событие, событие и еще раз событие. Если же и психологическое состояние, то настолько тесно сопряженное с глубинными реалиями жизни и бытия, что оно, это состояние, тоже становится самодовлеющим и замкнутым на себя сюжетом-событием.

Кроме того, событие в балладе, помимо содержательной насыщенности, должно быть динамичным, занимательным и не чуждаться некоторой фантастичности: что называется, в меру. Впрочем, как же иначе? Мы ведь постоянно ходим по тонкой грани миров непостижимых, великих и разных. Даже естественнонаучные открытия нынче на каждом шагу подтверждают сей постулат. И потому смотреть на нашу жизнь с точки зрения привычной повседневности есть всего лишь вредная привычка, не более.

Правда, и воспроизводить фантастику в духе, скажем, гетевского «Лесного царя» теперь уже тоже нельзя. Как-никак, все течет и меняется, и нужно отыскивать собственный оригинальный стиль. Но так всегда было в искусстве.

Разумеется, душа баллады – это стихи. Они задают тон повествованию: по образу и подобию тональности в музыке. А также ритмически несут его, как волны несут парусник. Жанр баллады вообще очень похож на белеющий в синем море парусник: здесь и соединение обеих метафизических бесконечностей в лице моря и неба, здесь и субстанция вечного скольжения по грани двоемирия, здесь и необходимая лаконичность, и грация, и обязательное ощущение далекой прозрачной глубины при параллельной теплой человечности, как бы незримо пребывающих на борту парусника небольшой команды и капитана.

Иногда мне кажется, что все в мире, если брать только сердцевину, есть баллада. Сотворение мира – баллада. И вечное бытие тоже баллада. Рождение и гибель цивилизаций – баллада. И уж конечно, человеческая жизнь, от рождения до смерти, если ее выразить предельно кратко, будет тоже балладой. Опишите характер человека в нескольких абзацах, – и вы получите черновик прекрасной баллады. Вспомните вашу первую любовь и чем она закончилась, – и вот вам почти законченный набросок к балладе о любви. Проведите пунктир от того, что вы сделали самого важного в жизни, где остановились по причине внутреннего и законченного самоосуществления, раскройте дальше скобки ваших глубочайших предчувствий, ваших хронических болезней и еще, быть может, наследственных заболеваний, не забудьте также об итогах пожизненных ваших размышлений о том, что ждет вас по ту сторону, – и у вас на руках будет конспект сразу к двум балладам: о смерти и о перетекании жизни в бытие. И так далее и тому подобное.

Иными словами, любая тема, любой феномен, любое чувство и любая мысль органически приобретают балладное звучание, как только они начинают походить на тот самый лермонтовский белеющий в синем море парус одинокий... Еще раз: краткость, занимательность, существенность, динамика и как следствие – постоянный подход вплотную к тому, что радикально выходит за грани привычного понимания мира, не переходя заветной границы, – вот пять основных столпов баллады как жанра.

С другой стороны, в поэзии есть некоторая принципиальная недосказанность – сам ее ритм, строй и в особенности связанность рифмой не позволяют слишком подробно остановиться на иных подробностях, которыми, между прочим, интересуется всякий нормальный человек и он же – читатель. И потому поэзия как жанр оставляет после себя некую неустрашимую возвышенную неудовлетворенность, – это все равно что видеть прекрасную женщину, в той или иной степени желать ее, но не иметь возможности увидеть ее обнаженной, не говоря уже о том, чтобы познать ее любовь. И тогда проза, разумеется, не любая, но стилистически созвучная стихам, очень хорошо может их дополнить.

Более того, очень часто стихи, элегантно гарцуя по бумаге, точно конногвардейцы на параде, в гордом и несколько высокомерном одиночестве – иногда четыре строки на всю страницу – на самом деле внутренне и в чудовищном масштабе нуждаются в прозе. То есть сами по себе они никогда бы в этом не признались, но названный дефицит остро ощущают простые и не испорченные лживой догмой об «избранном жанре стихотворчества» люди. Их миллионы и миллионы, и все они откровенно предпочитают поэзии прозу. И они правы, черт побери!

Вообще, решительно любые стихи, в том числе и вся мировая поэтическая классика, если она умно и с любовью интерпретируется прозой, всегда и без исключения обогащается вместо того, чтобы обедняться. Казалось бы: в таком случае поэзии отводится роль некоего прикладного, а значит, и второстепенного искусства. Ничего подобного! поэзия и проза могут прекрасно дополнять друг друга, – и дело здесь даже не в искусственном поиске возможной между ними гармонии, а дело в том, что их внутренне и изначально объединяет органически пребывающий в них дух «чистой» или «бытийственной» поэзии. И нужно его только отыскать и адекватно выразить.

Ибо при внимательном рассмотрении все есть поэзия. И нет ничего, в чем не было бы совсем поэзии. Поэзия разлита в мире точь-в-точь как свет и воздух, а ее квинтэссенция незримо пребывает в вещах, как то пространство, в которых живут вещи и без которого они существовать не могут. Поэтому допустимо без особого риска ошибиться, прямо отождествляя «онтологическую поэзию» – но только ее одну! – с тем, что мы любим называть «истиной». Тем более что лучшего определения истины трудно найти. Во всяком случае, до сих пор это никому не удалось. Стало быть, чем ближе мы подходим к внутренним, центральным и непреходящим законам жизни и бытия и чем больше в нашем поиске участвует сердце (а не один только ум), тем больше нам открывается поэзии в окружающем мире. А чем дальше от них, тем ее соответственно меньше.

Поэтому в той самой степени, в какой человеческий дух в предоставленных ему основных творческих жанрах – религии, философии и искусства – приближается к пониманию и воплощению обозначенного центра, – в той самой степени он, дух, хочет он того или не хочет: насквозь и в глубочайшем плане поэтичен. Если же он откатывается на периферию, то соответственно убывает в нем и поэзия. И в самом деле, поэзия – но ни в коем случае не стихотворная, а бытийственная – один к одному тождественна истине, а другого критерия истины у нас, как ни странно, нет.

И если, к примеру, из всех религий наиболее поэтичен буддизм, то он, по моему глубокому убеждению, и ближе всех к истине. В христианстве тоже много поэзии, но она броска, чувственна, романтична, недостаточно subtilна и склонна к психологическим извращениям. Есть также великая и очень своеобразная поэзия в иудаизме и индуизме... так что если во всех

этих примерах слово «поэзия» заменить словом «истина», ничего решительно не изменится. И как спорили люди издавна об истине, так спорят они по сей день о поэзии. Просто спор о поэзии более гуманен. Он не таит в себе смертоносных конфликтов. Из него не следуют ни инквизиционные пытки, ни религиозные войны.

Важно подчеркнуть: поэзию и истину только тогда можно полностью отождествлять, когда мы живем поэзией, а не только ее воспринимаем. Ведь были же и есть у каждого из нас такие моменты, когда мы именно жили той или иной поэзией (безразлично, стихов, прозы, музыки, живописи или религии), – почти так же, как мы жили и живем повседневной жизнью. Также, наоборот, истинно верующие, обращаясь к своей религии, обращаются к ней неодинаково: иногда всей душой, а иногда формально, как будто и нет у них в этот момент подлинного религиозного горения, – и во втором случае, как легко догадаться, религиозной жизни нет, остается один религиозный обряд, напоминающий, кстати, прекрасные стихи, которые никто читать не хочет.

Не иначе обстоит дело в философии. По странному совпадению наиболее великий философ – Шопенгауэр – есть вместе и наиболее поэтический. Утверждаю без какого-либо преувеличения: в философии Шопенгауэра не меньше поэзии, чем во всех стихах, вместе взятых.

Даже законы естествознания в глубочайшем смысле поэтичны, – разве не так? Формулы И. Ньютона, но еще больше А. Эйнштейна вполне созвучны лучшим пушкинским стихам. Да и в любом решительно научном открытии, безразлично в какой области, есть великая простота, великая глубина и великая стройность, – и как научному закону подчиняются бесконечные во времени и пространстве участки материи – точно они изящно танцуют под его музыку – так неким основным соотношениям между жизнью сердца, жизнью ума и жизнью космоса, найденным поэтом, свободно и с радостью подчиняются тысячи и тысячи хаотически пребывающих в нас чувств и мыслей.

Но и наоборот: классическая поэзия есть всегда запечатление каких-то самых существенных взаимоотношений между самыми существенными точками бытия. То есть в поэзии попросту задействованы главные герои душевной жизни человека: Мир в целом, Природа, Бог, Женщина и тесно с ней связанные Влюбленность, Любовь и Страдание, Иные Миры, Смерть. И так далее и тому подобное.

Всех героев и все темы поэзии перечислить невозможно. Но можно попытаться выразить главный закон поэтического жанра: стремление в как можно меньших словах поведать о как можно большем. Отсюда и формулообразность классической поэзии – от самых древних до самых современных мастеров. Когда же поэт начинает уходить в бесчисленные подробности житейского и одновременно метафизического порядка – в этом даже основная особенность современного стихотворчества – он невольно начинает подражать прозаику, не располагая, однако, теми жанровыми возможностями, какие есть у прозаика. Но это все равно что танцевать в туфлях, которые вам безнадежно жмут.

Итак, везде есть первоосновная – бытийственная – поэзия, но меньше всего ее, как легко догадаться, именно в стихах. Поэзия разлита в нашем мире, стоит повторить, как воздух и свет. И человек-творец в той степени поэт, в которой воспроизводит в своих творениях эту первозданную субстанцию воздуха, света и пространства. У кого ее больше всего? Не хочу ввязываться в дискуссию, которой, как говорится, конца и края нет. Главное – что поэзия и проза могут прекрасно дополнять друг друга, как дополняют друг друга в семье брат и сестра: чего не хватает у одного, есть в избытке у другого.

Стихи, например, обрисовывают первоосновные конфигурации бытия: наподобие, опять-таки, формул естествознания. Но более подробно описать те же конфигурации и заодно осветить их с разных сторон – это уже задача прозы... Пусть и не классической по жанру, но, скажем, эссеистской. Да и нет никакой принципиальной разницы между поэзией и прозой. Дело ведь в конечном счете не в размере, не в ритме и не в прочих жанровых тонкостях. А

дело, стоит повторить, в той изначальной и всеобъемлющей субстанции, лежащей в основе как поэзии, так и прозы, которая иначе как насквозь поэтической быть просто не может.

Разумеется, когда речь идет о поэзии, то законы размера и ритма становятся определяющими. Но даже они не делают стихотворение поэтическим. То есть делают только по форме и в поверхностном смысле. Нижеприводимые баллады названы контрапунктными. Это и понятно – само соединение поэзии и прозы не может быть иным, как контрапунктным. Ибо ни та, ни другая не должны – да и не могут по своей природе – подражать друг другу. Но если каждая из них по мере возможностей попытается озвучить заданную тему... впрочем, о результате такого эксперимента пусть судит читатель.

Не стану и скрывать: контрапунктная композиция книги навеяна, конечно, моим любимым композитором. Я вообще твердо убежден в том, что наш мир построен на основе музыкальной гармонии. И ничто не убедит меня в обратном. Уже в моих ранних этюдах была заложена балладная сердцевина, которую я осознал много позже. Как равным образом и все мои стихи, в особенности поздние, даже не являющиеся; по жанру балладой, как бы были написаны только для того, чтобы стать частью контрапунктных баллад. Все пути, как говорится, ведут в Рим.

Иные баллады гомогенны, – в таких случаях стихи и прозаические этюды обозначены лишь цифрами. Если же они контрастны, то есть смысловые их мелодии развиваются параллельно и довольно далеко друг от друга, тогда каждый из них имеет свой подзаголовок. Не могу сказать, какой вариант предпочтительней. Мне лично оба нравятся одинаково.

Писал ли я стихи к уже готовым прозаическим фрагментам? Разумеется, и я не только этого не стесняюсь, но откровенно этим горжусь. Любой поэт сочиняет, имея в голове некоторый замысел. Где совсем нет замысла, есть одна белиберда. Между прочим, я голову дам на отсечение, что нет лучшего комментария к тому, что есть по сути знаменитые платоновские идеи, нежели этот самый поэтический замысел поэта по отношению к тому, в какую окончательную форму он выльется: здесь и благородная солнечная пушкинская ясность, но здесь же и некоторая возвышенная, поистине свидетельствующая о контакте с мирами иными, таинственная туманность.

Как и наоборот, к иным готовым – и в частности, ранним – стихотворениям я писал эссе. Самое важное здесь: не копировать одно другим, но пытаться адекватно воплотить возможности, спящие в обоих жанрах. В иных «контрапунктных балладах» стихотворные баллады полностью самостоятельны, в других – это стихи, которые без прозаической оркестровки не в состоянии достичь балладной динамики и законченности. Не могу не сказать: мне очень помог гексаметр, который, великолепно балансируя между поэзией и прозой – так и хочется сказать: их золотая середина, но ведь кроме Гомера ею как будто никто не воспользовался – любое эссе точно по волшебству превращал в балладу.

Возможности гексаметра, как я теперь вижу, безграничны, тогда как возможности других классических балладных стихотворных форм весьма и весьма ограничены: прежде всего вследствие рифмы. Да, гексаметр местами приближается к ритмической прозе, – но чего же здесь плохого? Я вижу здесь одно только хорошее, – а вот совсем без стихотворного ритма настоящая баллада невозможна. Конечно, балладу в прозе, как и стихотворение в прозе, написать можно, и даже очень хорошие, но чего-то самого главного в них всегда будет не хватать, – так женщина, переодевшись в мужской костюм, не сделается от этого мужчиной, а мужчина в прозрачных чулках, с косметикой и бюстгалтером никогда не станет женщиной для «неглубоких» мужчин.

В заключение я слышу невысказанный вопрос, а закончены ли баллады в себе, и такие ли они, что «из них слова не выкинешь и слова не вставишь»? Ничего подобного! я мог бы при желании их дополнить или сократить, – и тогда при соответствующей обработке читатель не заметил бы позднего вмешательства. И все дело только в том, будет ли переработка со знаком

плюс или со знаком минус, а иначе быть не может и не должно: творческий процесс принципиально незакончен и тем самым бесконечен.

I. Баллада о Бегстве от Последнего Динозавра

1. Возражение авторитету

Почти каждый вечер по российскому телевидению слышу от блестящего журналиста с еще более блестящим именем: Владимир Соловьев – скрытый упрек в отсутствии у меня и еще многих и многих мне подобных чувства патриотизма, – странным образом еще в конце семидесятых, когда я только попал на Запад, тот же самый упрек в мой адрес имел место и с противоположной стороны: от одной известной махровой антисоветской организации во Франкфурте-на-Майне, – эти люди – либо белоэмигранты, либо сотрудничавшие с немцами русские во время Второй мировой – старались нам, людям так называемой Третьей Волны, внушить мысль, что только служение России – так, как они его понимали – может оправдать ставшую бессмысленной – потому что анонимной – жизнь на Западе, при этом их дети, как я успел заметить, все как один учились в западных университетах и были задействованы на престижных западных должностях.

Неубедительно? тогда вспомним Пушкина: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство», – вообще, обо всем можно спорить, но только не о том, что для нас, русских, патриотизм тождествен знаменитой проблеме «квадратуры круга», – сюда же и отрезвляющие, как ушат холодной воды, стихи Пушкина и Лермонтова: самых русских людей, не говоря уже о позиции Льва Толстого, – все они точно предчувствовали, что в роковой час русской революции и последующей гражданской войны оставаться в стране – по меньшей мере такой же «смертный грех», как и покинуть ее навсегда.

Но дело даже не в этом, а дело в том, что каждый человек – это прежде всего живое существо, рождающееся посреди бесконечного и загадочного бытия, всю жизнь свою точно идущий по канату, натянутому над смертью, проходящий через столь же великие, сколь и непонятные ему самому опыты любви, семьи, войны, болезней и так далее и тому подобное, и плюс к тому еще неизбежно уходящее туда, откуда не возвращаются, – и вот эту самую элементарную бытийственную роль играет абсолютно каждый человек, и она же есть самая великая, и она в бесконечное число раз превосходит любую шекспировскую роль, играемую знаменитыми актерами на подмостках театров или в кино, и только после нее и в качестве дополнения – так одежда дополняет и подчеркивает лицо – идут все прочие человеческие роли: семьянина, политика, философа, художника, гражданина, эмигранта и прочее.

Да, если бы не было того самого первичного назначения человека – прожив эту жизнь, перейти в бытие, то возможно было бы выстроить более-менее стройную иерархию прочих житейских ролей, и тогда бы роль гражданина, пожалуй, стояла бы над ролью эмигранта: так ставим мы чисто субъективно роль семьянина над ролью холостяка или роль художника над ролью простого работяги, но поскольку элементарное участие в космическом спектакле под названием «Жизнь и Бытие» бесконечно превосходит любой сугубо человеческий театральный репертуар – так скорость света несоизмерима со скоростью известных нам средств передвижения – постольку и роли эмигранта и гражданина приблизительно равны в онтологическом плане, – и тогда любой подчеркнутый патриотизм неуместен, как маскарадный костюм в привычной житейской обстановке, – и так думают и чувствуют все эмигранты, а может быть, и те, кто на словах упрекают их в недостаточном патриотизме, чувствуя в душе, что сам упрек похож на прилепившуюся к верхней губе черную шелуху семечки: ничего в том страшного нет, – просто немного смешно.

2. Баллада о Последнем Динозавре

Слышу – на каждом углу говорят,
что динозавров весь вымер отряд:

не до конца, все ж остался один —
он плодотворной земли господин, —

золото, платина, нефть там и газ,
лес и пушнина, уран и алмаз, —

бог только знает один – почему
даром достались народу тому,

что на ней исстари мирно живет,
и уже этим им жить не дает —

тем, утонченный чей западный лоск
должен замазать, как мертвенный воск,

тайную веру – к ней Запад пришел —
что человек все же произошел

от обезьяны – ну как не понять?
странно, что это не могут признать

те, кто не знает хороших манер:
люди с Востока как первый пример.

Мыслимо разве, чтоб русский медведь
свет – причем чистый – в душе мог иметь?

груб, неуклюж и всегда хулиган:
то ураган, а то вдруг – балаган,

удержу русский не знает ни в чем,
жить, умирать – все ему нипочем,

подвигом – мыслит он – жизнь и красна,
только не всем позволяет она

подвиг хотя бы один свершить, —
и вот тогда, чтобы не мельтешить,

должен коленца наш брат отколоть
(душу отдаст он за них, как и плоть), —

жаль, одного лишь ему не дано
(самого легкого, как ни смешно):

жизнь постараться так тихо прожить,
чтоб по возможности просто в ней быть:

с небом у жизни такой сходство есть —
близость с великим для малого честь.

К чудищу этому я подойду,
кровоточащую рану найду,

с левого бока сочится там кровь:
где уваженья не знает любовь,

маски где сняты со Зла и Добра —
хамство и святость, как брат и сестра,

правят глумливо там праздничный бал
и провоцируют явный скандал.

Кроме того, здесь такой есть момент
(на провокацию он же патент):

чудище мир добротой покорит —
Ванга-пророчица так говорит —

ну, а до тех пор своих он врагов
рушит, как идиолов лживых богов, —

мне же те боги отнюдь не чужды,
и в оправданье не вижу нужды,

слышу в буддизме я истины глас:
много есть ценностей выше для нас,

нежели преданность крови родной —
кто здесь в душе не согласен со мной?

И в заключение нельзя не сказать:
в чудище этом особая статья, —

хоть грубых промахов в нем и не счесть,
что-то от сказки волшебной в нем есть,

сказку же – всякую – нужно беречь, —
только об этом и шла у нас речь.

3. Палеонтологический этюд

Попав в зоопарк, вы, как хотите, больше восхищаетесь все-таки хищниками, нежели безобидными травоядными животными, даже если любое насилие внушает вам отвращение и вы вегетарианец: ничего не поделаешь – такова уж, видно, природа человека, и если бы вы увидели в зоопарке динозавра, которого все считают вымершим, вы бы не смогли оторвать от него глаз и стояли бы, верно, до сих пор: вас уволили бы с работы, жена бы ушла от вас, а вы стояли бы там и стояли.

К чему я клоню? еще российские диссиденты в упор не хотели понимать того элементарного факта, что власть и народ в нашей стране неотделимы друг от друга, как молоко и вода в одном сосуде, по крайней мере, это давно уже так: конгломерат народа и власти, точно в таинственной лаборатории, как раз и произвел на свет божий феномен русского динозавра, – любопытная вещь: передовое человечество все бы дало, чтобы иметь возможность наблюдать за каким-нибудь чудом выжившим древним ископаемым, наш же отечественный динозавр не дает им покоя.

Надо полагать, они считают, что по цивилизационным соображениям мы не имеем права на дальнейшее существование в том виде, в каком мы существуем, но динозавр на то и динозавр, что борется за жизнь одному ему свойственным образом, и перед лицом природы он прав, а значит, онтологически он полностью оправдан, – но следом за онтологией, как ее родная младшая сестра, выступает эстетика, и вот она-то, поддерживая старшую сестру, категорически заявляет, что, хотя у нас множество недостатков, и недостатки эти «с музыкальной точки зрения» поистине режут слух, все же самые отвратительные, потому что предельно завуалированные недостатки: утонченное ханжество, непостижимое – потому что для себя самих незаметное – лицемерие, а также с ними сопряженная тишайшая подлость, нам, к счастью, не свойственны, – так что когда мы – и как правило по необходимости – вынуждены лгать, в том числе и в лице нашего многоуважаемого президента, мы знаем, что мы лжем, и те, кому мы лжем, тоже об этом знают, а вот когда лгут наши западные оппоненты, никто ничего до конца толком не знает, а ложь их все-таки ходит по миру, и это, вспоминая аналогичные рассуждения Достоевского, есть по своей внутренней природе откровенно дьявольские штучки.

И эти штучки принадлежат так называемой западной (англосаксонской) цивилизации, более того, они, будучи ее родимым пятном, неотделимы от нее, как душа от тела: сравнение это тем более в точку, что, особенно живя посреди этой – и, нужно сказать по справедливости, самой лучшей для жизни – цивилизации, приходится иной раз напрягать все силы собственных глаз, ушей, ума и интуиции, чтобы это самое родимое пятно их нравственного либерализма или либеральной нравственности вообще уловить и зафиксировать, – но ведь с феноменом души происходит абсолютно то же самое.

Вообще, когда где-либо фиксируется дьявольское или демоническое начало, нравственное чувство в человеке как бы замирает и успокаивается: мол, исследование жизни в главном закончилось, соотношение между Добром и Злом, Светом и Тьмой, Истиной и Заблуждением установилось, и идти дальше, собственно, некуда – на тех же самых психологических архетипах выстроено, между прочим, и христианство – тогда как буддизм, например, да и сам Ход Вещей утверждают противоположное, а именно: демоны были, есть и будут, они вечны, потому что они принадлежат Сюжету Бытия, как какие-нибудь великие герои романтическому по стилю произведению искусства, они ему служат, они в нем участвуют наравне с прочими действующими лицами и, что самое главное, действие пьесы под названием «Жизнь и Бытие» никогда даже на минуту не останавливается, и никакое окончательное Знание – то есть попросту Истина – невозможно.

В нашем случае, если под демонами подразумевать сердцевину ментальности человека, народа или цивилизации – а это как будто так и есть на самом деле, и лучшей трактовки демонической сущности нам не найти – то допустимо говорить, с одной стороны, о демоне исключительно достойной повседневной жизни со всеми ее правами человека, но и утонченным лицемерием, а главное, принципиальной неготовностью признавать существование чистого добра и чистого света, которые все-таки есть: Демоне Западной Цивилизации, и демоне глубочайшей консервативности, зато хранящей в чреве своем духовные и физические подвиги, невозможные на Западе, демоне одновременных и несовместимых чувств: жалости и сочувствия, но и презрения и жестокости к ближнему, которые и невыносимо раздражают и безусловно восхищают, а в целом могут довести нормального человека до отчаяния: Нашем Российском Демоне.

И каждый из этих демонов живет своей жизнью, выполняя уготованную ему свыше космическую задачу, и вряд ли один из них лучше или хуже другого, – а вот люди, родившиеся в сфере влияния того или другого демона, могут чувствовать – по причине неподвластных им кармических пертурбаций – и чувствуют на самом деле внутреннее несозвучие со своим Патроном и большую – или по крайней мере равную – душевную близость с его Соперником: такова, по-видимому, метафизическая пантомима феномена эмиграции, – однако вся беда состоит тут в том, что в подавляющем числе люди бегут от Русского демона к Западному, а не наоборот, и там только, уже на Западе, начинают ценить и даже любить и превозносить Последнего Динозавра, от которого они сбежали, – и здесь есть о чем задуматься, и это действительно очень грустно, и быть может, даже немного трагично.

4. Эмигрантская Баллада

Простая история с нами
случилась – от будней сбежали,
и дверцу в стене под плющами
волшебную мы отыскали.

Вошли: за мансардным оконцем
виднелась часть летнего сада —
а лучшего места под солнцем
нам было уже и не надо.

Соблазны мирского уюта —
увы! эмигрантское свойство —
обняли, как щупальца спрута,
святое души беспокойство.

Но стало в сердцах раздаваться
природы кармической Слово:
«В российской юдоли рождаться
придется вам снова и снова,

до тех пор, пока не поймете,
что лучшей не выпадет доли —
пока для себя не найдете
на сцене истории роли,

что пыль всем в глаза не пускает
значенья громадного ношей,
а просто игрой убеждает,
как принято в пьесе хорошей».

Мы в шоке и смутной тревоге,
но шепчем в свое оправдание:
«Лишь роль человека в дороге —
актерское наше призванье,

а прочее – грубые маски
души необъятной и русской:
куда до истории-сказки
Европе рассудочно-узкой!

Меж богом и миром природы
нашли мы бездонную бездну,
и в ней приютились – на годы,
как в спальне с женою любезной.

И став постепенно чужими
для тех, с кем по крови мы сходны,
не стали мы также своими
и тем, кто для нас чужеродны.

А люди, что вовсе не падки
до этого сложного чувства,
вовек не постигнут загадки
России и просто искусства».

Так мирно поспорив с судьбою,
как с грозным в спектакле героем,
мы дверцу в стене за собою,
как занавес, тихо прикроем.

5. Достоинства и недостатки обыкновенной тишины

Хитрость русского человека – как та абсолютно нерастворимая в воде таблетка, что остается на дне стакана, когда после долгой беседы рассосались в душе и в желудке и нечеловеческая откровенность, и нечеловеческое любопытство, и нечеловеческое гостеприимство, и нечеловеческая теплота, и нечеловеческое благодушие, – и вот хочется иной раз выплюнуть таблетку, да вовремя осознаешь, что она подобна тому ребенку в пресловутом корыте, которого все-таки не следует выплескивать вместе с водой, – уж не есть ли сие свойство общим знаменателем нашей ментальности, тем самым, который имел в виду В.В. Розанов, когда записал свою знаменитую фразу: «Посмотришь на русского человека одним глазком, посмотрит он на тебя одним глазком... И все ясно без слов. Вот чего нельзя с иностранцем».

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить, что ход нашей истории всегда был как бы предопределен свыше – в том смысле, что главный ее участник: русский народ в

лице его низших и средних сословий – в ней никогда по-настоящему не участвовал, и верхи всегда определяли политически-общественную жизнь страны: отсюда ее торжественно-однообразный, напоминающий местами православный молебен, характер, а весь национальный организм – точно гигантская декоративная фигура, поднявшаяся на котурнах: она даже не ходит по сцене по причине неудобства обуви, но застыла в величавой, хотя несколько неестественной позе, а вокруг нее повисла тревожная, томительная атмосфера... что-то будет!

Эта странная зловещая тишина, обычно предшествующая катастрофам, повисла над Россией, по-видимому, давным-давно, когда именно, и сказать нельзя, как невозможно определить хронологическое начало сказки, и ее трудно было услышать, потому что она, как малая матрешка, изначально была облечена в тот великий и предвечный левитановский покой, который, играя роль более крупной матрешки, и по сей день одухотворяет иные российские пейзажи, – наша великая тишина, из которой вышло все лучшее, доброе, вечное, и наше великое историческое бездействие, породившее то, что отталкивает от нас многие, слишком многие народы, были слиты воедино, и конечно же, триединый славянофильский образ самодержавия, православия и народности, в европейском масштабе являясь глянцевым кичем, все же в нас и для нас кое-что да значил и значит до сих пор, более того, он по-прежнему неотделим от суммарного представления о русской культуре и русской душе, как неотделима от глухой нашей глубинной деревушки какая-нибудь белотелая церквушка с золоченым куполом и малиновым звоном, да еще неподалеку от узкой речушки со степным простором на одной стороне и сосновым бором по соседству с березовой рощей на другом берегу.

В такой вот благодатной, удобренной столетиями тишине трудно расслышать пронзительное безмолвие приближающейся трагедии, как непривычно распознать в странном, бесшумном и гигантском оттоке воды от берега приближающийся из океана цунами, в такие часы чувствуешь себя зрителем фильма, из которого выключили звук: все вроде бы происходит так, как в нормальной жизни, а звук выключен, звук исчез – душа всего живого, и ощущение – точно в кошмарном сновидении, нет чувства реальности, ее место заняла пугающая призрачность.

Такое впечатление производит наш Санкт-Петербург: самый нерусский с точки зрения предшествующей истории, и вместе с тем, самый русский в плане ее же театральной сущности.

Неотразимый в притяжении магнитном,
неприложимо-чуждый суете людской,
в мундире строгом, похоронном и гранитном
спит этот самый странный город над рекой:

весь воплощение линейной перспективы,
так и не легшей на российскую судьбу,
он телом – жизни европейской негативы,
а духом – Пушкин, ясно мыслящий в гробу.

Так точно и в жизни отдельного человека бывают минуты, когда ему кажется, что будущего для него больше нет, потому что все главное, для чего он рожден, уже сделано, а исполнение повседневных нужд только усиливает чувство пустоты, сгустившейся вокруг него. Подчиняясь инстинкту жизни, он ищет для себя какие-то задачи, способные оправдать его ставшее вдруг ненужным присутствие в этом мире, но все рушится и обваливается под его руками, а сам он, как во сне, падает все глубже в состояние полной прострации, – такая минута, раздвинутая в эпоху и многие эпохи, есть русская история в ее сокровенном бытийственном сюжете, и в разные периоды нашей истории это чувство присутствовало с неодинаковой интенсивностью, но полностью никогда не исчезало.

Вот почему, наверное, русский эмигрант так хорошо и так естественно чувствует себя за границей: нет, он не сделался ни немцем, ни англичанином, ни французом, да у него и мысли такой не было, он остался русским и стал им за границей едва ли не в большей мере, чем прежде, когда жил в России, потому что то характерное ощущение двойного отсутствия – себя в своей стране и страны вокруг себя – оно на расстоянии стало восприниматься острее и отчетливей.

Да что говорить? На днях я ехал в мюнхенском метро, напротив меня сели две русские женщины преклонного возраста, но далеко не старухи, конечно же, недавно приехавшие из России и обосновавшиеся в Германии, и вот одна стала рассказывать другой, как она записалась в какой-то творческий немецкий кружок – ну типа наших песен и танцев – и как все поначалу было вроде бы хорошо до тех пор, пока она не стала регулярно приносить на занятия блины и пирожки и от души ими всех участников угощать, сначала ее благодарили, потом как-то стали недоуменно переглядываться, затем вопросительно на нее смотреть, и наконец руководительница кружка прямо ей сказала, чтобы она прекратила заниматься подобной благотворительной деятельностью, – женщина обиделась и вышла из кружка: «Я же все от души делала, – пожаловалась она соседке по сиденью, – но немцы, знаете, такие сухие и странные», – и та как будто с нею согласилась.

А я поневоле вспомнил, как в конце семидесятых прошлого века, сразу по приезде в Германию, когда русских здесь можно было буквально по пальцам пересчитать, я все-таки неприятно морщился, когда вдруг случайно слышал родную речь в общественном транспорте или на улице и, хотя я не мог обойтись без Толстовской Библиотеки, хотя жена у меня была русская, хотя думал и писал я на русском языке и общался удовольствием с некоторыми российскими эмигрантами, хотя мама у меня осталась в России и судьба родной страны была для меня далеко безразлична, все-таки никогда мне не забыть того тайного, глубочайшего, безраздельного и постыдного по большому счету блаженства, которое я испытывал, будучи отделен от миллионов моих соплеменников тем самым Железным Занавесом, падение которого так приветствовала прогрессивная История, но так оплакивало практически все население Западной Германии, и в первую очередь, русские эмигранты Первой, Второй и Третьей волны, наверное, с тех пор мало что изменилось, потому что, наблюдая в метро за теми двумя женщинами, я тоже тщательно избегал их взглядов и вообще делал все, чтобы в сидящем напротив пассажире женщины не узнали своего соотечественника: ведь если бы я внимательно взглянул на женщин «одним глазком», то и они, быть может, пригляделись ко мне «одним глазком», – и тогда мы «поняли бы друг друга».

II. Баллада о Моей Второй Родине

1. (Из Гете. Ночная песнь странника)

Спускаясь с горних пепелищ,
ты тягость ноши облегчаешь,
и тех, кто вдесятеро нищ,
десятикратно ублажаешь.

Устал я: труден жизни путь,
а свет и радость дня – пустое...
войди же в страждущую грудь —
забвенье сумрака святое!

2. Одержимость порядком

Да, после российской провинциальной жизни, которая долгое время казалась мне сновидческим кошмаром – но не потому, что она таковой была на самом деле, а потому, что это я ее такой видел – я, наконец, попал в Европу, а точнее, в Германию, которая издавна виделась мне «землей обетованной», но почему? Да потому только, что я больше всего на свете еще с детства возлюбил немецкую классическую музыку и стал даже видеть в ней наиболее адекватное выражение Истины как таковой: в самом деле, разве они не идентичны?.. и действительно, я не только не разочаровался переездом, но обрел здесь тот глубочайший бытийственный покой, который окружает человека только тогда, когда он живет на земле, одновременно являющейся еще и его духовной родиной... правда, и с моей исторической родиной у Германии есть тонкое созвучие: где еще на земле столь разительный контраст между гениальными взлетами иных одиночек и беспросветно-беспробудным житием-бытием человеческих масс? Однако если у нашего брата контраст этот пролегает по ватерлинии утопии организации общества на свободных и даже любовных началах и реальной невозможности создать мало-мальски разумное продуктивное государство, то у немцев сходный контраст выражен куда в более тонких и незаметных формах... да не угодно ли пример? как, наслаждаясь жизнью, нельзя все-таки забывать, что всегда и в любом месте может случиться что-нибудь такое, что с этим наслаждением, мягко говоря, совершенно несовместимо, и это принадлежит к сущности самой жизни, так живя в Германии и пользуясь ее во многих отношениях образцовой организацией социальной и общественной жизни, тоже нельзя забывать, что к вам тотчас же и в течение буквально четверти часа подойдут полицейские, если вы, например, будучи усталым, вздумаете коротко прилечь на скамейке, или, привлеченные какой-нибудь живностью, вступите на газон, или – не дай бог! – заедете на велосипеде не туда, куда разрешено, – короче говоря, Дамоклов меч за малейшее нарушение немецкого порядка всегда и везде висит над вами, и не то что бы это так уж страшно – полицейские здесь очень вежливы, да и сами вы только внутренне выиграете, если научитесь уважать величайшую святыню немецкой нации – в конце концов, в чужой монастырь со своим уставом не лезут – однако эта поистине метафизическая страсть немцев соблюдать порядок в таких мелочах, которые представителям других – и тоже всеми уважаемых европейских – наций даже в голову не придут, страсть, которую можно сравнить

разве что с рыцарской скупостью пушкинского Барона или с мрачной одержимостью героев «Бесов», – она, эта страсть, быть может, намекает на какое-то древнее таинственное проклятие, висящее сызмальства над этой великой нацией, – и ни монументальные свершения в области культуры, ни опустошительная слава колоссальных разрушительных и саморазрушительных войн, ни даже примерная забота государства о благе граждан, а также их званых и незваных гостей, – абсолютно ничто не может заставить забыть нас об этом проклятии: оно как родимое пятно, по которому мать даже спустя десятилетия узнает свое родное дитя, и в нем, этом пятне, столько мелочности, чреватой величием, и вместе столько величия, чреватого мелочностью, что, – увы! – все прочее для чужестранца может выветриться со временем из памяти, а вот эта самая исконная немецкая черточка останется в сознании, точно ее там нацарапали гвоздем: в ней, кстати, при желании можно найти объяснение всем противоположным и мнимо несоместимым между собой проявлениям исторической жизни немцев, и в особенности противоположности между поразительной возвышенностью немецкой поэзии в лице «короля поэтов» Гете и сугубо прозаической повседневностью подавляющего большинства представителей этой замечательной нации.

3. (Из Гете)

Мудрым мысля весть доставить —
пусть толпа уж не взыскует —
стану я живое славить,
что о пламени тоскует.

В ночь любви и страстной встречи
с тонким холодом зачатий
принял ты в мерцанье свечи
тайн волшебные печати.

Их раскрой ты духом пленным,
и в душе исчезнут тени:
брезжат в отблеске нетленном
восхождения ступени.

И внося в святые дали
золотую песнь привета,
мотыльком земной печали
ты сгоришь в объятьях света.

Ясен жребий твой, избранник:
умереть и возродиться, —
чтоб в тоске, как вечный странник,
в мире сиром не влачиться.

4. Любительское сопоставление

И совсем уже в качестве постскриптума: когда я вижу, как на абсолютно спокойном отрезке какой-нибудь проселочной дороги собираются баварские полицейские, чтобы уста-

новить там радар или организовать усиленный контроль водителей, когда я вспоминаю, как однажды прямо передо мной на тротуар выехал полицейский автомобиль, слепя глаза, и у меня проверили документы только потому что я, с точки зрения случайно проезжавших мимо полицейских, подозрительно заглянул в собственную машину (я хотел убедиться, подтянут ли ручной тормоз), и когда я сравниваю все это с нашим семейным голландским путешествием, где за недельное пребывание в этой чудесной стране мы увидели без всякого преувеличения всего лишь пятерых полицейских – да и то двое из них, точно шутки ради, гарцевали на конях – то кафковская гипотеза о том, что преступление притягивает закон, обретает также и обратную значимость: закон тоже, быть может, притягивает преступление – в том смысле, что он его самым буквальным образом материализует из пустоты, – не так ли, кстати говоря, врачи не столько лечат, сколько создают и материализуют болезни? и как природа кафковской гипотезы насквозь художественна, а значит двусмысленна, так точно зыбко и противоречиво ее приложение к сравнительной криминальной статистике Германии и Нидерландов: с одной стороны, в Нидерландах за последнее десятилетие было закрыто около десятка крупнейших тюрем, а в действующих тюрьмах так много свободных мест, что голландцы за деньги содержат там преступников из соседних стран, однако с другой стороны, Амстердам считается после Лондона самым криминальным в Европе городом (хотя я этого совершенно не почувствовал), а суды в Голландии склонны просто многих преступников отправлять не в тюрьмы, а на социальные работы: потому-то так много там свободных камер! и все-таки противоречие (в статистике двух стран) есть противоречие, его так просто не объяснишь, – и чем черт не шутит: быть может, лучшего его уяснения, чем при помощи кафковской гипотезы, вообще не существует! и уж во всяком случае здесь, в Германии, даже и близко нет ощущения, будто «грехи отпускаются на земле», – напротив, чувство греха и стремление к покаянию, как они свойственны русскому человеку, вообще чужды немцам, и я даже убежден, что они в глубине души не раскаялись в преступлениях последней войны: но не потому, что они настолько бессердечны, а потому, что они просто физически не верят в возможность покаяния и наличие греха как такового, – всем этим (православным в своей основе и с их точки зрения надуманным) душевным мотивам они противопоставляют реальное и всемогущее (ибо необратимое) чувство судьбы и вытекающее отсюда гамлетовское молчание, молчание и еще раз молчание.

5. (Из Гете)

В слезах кто хлеб свой не вкушал,
кто в обручах мучений тесных
в подушку плача не дышал,
не знает тот и сил небесных! —

они нас в грешный мир ввергают:
мир, пребывающий во зле, —
но и грехи нам отпускают
еще при жизни – на земле.

III. Баллада о Нескромном Взгляде

1

Слишком пронзительный взгляд как-то странно нам душу тревожит,
если тем более он человеком в нас послан чужим, —
дело тут даже не в том, что под кожу он нам проникает
малым подобно клещам, нарушая закон чистоты:
тот проникающий взгляд претендует в нас нечто подметить,
что ищем сами мы в нас, хоть пока еще и не нашли, —
ищем, быть может, всю жизнь мы свою изначальную сущность,
будем и дальше ее до скончания века искать —
это природы закон, с ним давно мы и молча смирились, —
но как же смеет тогда анонимный участник толпы
вечный канон нарушать? на глазах приговор он выносит
нам как верховный судья, и неважно, с оценкой какой:
судит он нас, нам ли льстит – неприятно и то, и другое,
лучше бы он сделал вид, что ему нас вовек не понять.

2

Когда в толпе мы вдруг исподволь встречаем взгляд другого и незнакомого нам человека, то еще задолго до возникновения какого-либо психологического контакта – по времени же эта фаза длится долю секунды – мы чувствуем сквозящую в этом взгляде этот взгляд первозданную и совершенно непостижимую для нас чужеродность бытия, и вот она пронизывает нас как-то сразу и насквозь, – так что даже ночное мироздание с его мерцающими звездами, быть может, давно умершими и лучше всего, кажется, доносящее до нас бесконечность мира, превосходя тот взгляд в монументальности воздействия, уступает ему, однако, в завуалированной пронзительности выражения, ибо ночное небо все-таки объект, а значит неизбежно подчиняется оформлению нашей субъектности, – и какой бы страшный образ мы из него ни слепили энергиями чувств, мыслей и воли, это все-таки наш собственный и производный от нас образ, тогда как пристальный взгляд на нас чужого и постороннего человека, сколь бы безобиден он ни был, означает вторжение в наше жизненное пространство субъекта, то есть живого существа, которое одним своим существованием делает наше бытие и наше мировоззрение куда более условным и относительным, чем это удалось ответившему нам немим взором необозримому полуночному универсуму.

И вот эта субъектная чужеродность любого нашего визави настолько элементарна и вместе настолько действенна, что в нем, как в зеркале, мы читаем и наше онтологическое с ним равенство, и наше кровное с ним одиночество, и наше сходное с ним право на счастье, и нашу родственную с ним обреченность на страдания и смерть, – да, чужой взгляд в толпе показывает нам, точно в магическом кристалле, наше собственное положение в этом мире, и нашу судьбу в нем, а кроме того, в качестве бесплатного приложения, взгляд этот ненавязчиво подсказывает

нам, что если бы Всевышний соизволил взглянуть на нас, Он бы это сделал как в современной сказке: приняв образ не нищего, а какого-нибудь случайного в толпе человека.

Или, нотой выше, Всевышний посмотрел бы на нас точно так, как мы сами ответили на взгляд того человека из толпы, то есть если ответили с любовью – то и сами получили свыше любовь: скажем, в виде постоянных жизненных удач, а если ответили с раздражением и неприязнью – вот вам и тайная причина наших неурядиц и несчастий, – как бы то ни было, в чужом взгляде мы фиксируем сначала бездноподобное отчуждение по всем параметрам, и это отчуждение мы можем легко расширить и углубить – ответным холодным и безразличным взглядом, но можем и сузить и даже упразднить – идущей изнутри теплотой наших глаз: теплотой, которая демонстративно не обращает внимание на настроение и внешние обстоятельства.

Ведь в согласии с неумолимым законом симпатии-антипатии, этот застрявший надолго в поле нашего зрения субъект с нескромным взглядом может показаться нам настолько отталкивающим, что простое допущение необходимости с ним долго и интенсивно контактировать вызывает в нас то самое непреодолимое и сартровское: «Ад – это другие», – и кто знает, быть может, идя целенаправленно по этому пути и никогда с него не сворачивая, мы и на самом деле попадем в Ад, тогда как, сумев преодолеть себя и ответив несимпатичному субъекту любящей добротой во взгляде, мы отправимся в противоположном направлении, то есть, даже страшно, сказать, в Рай, – ну а если, как это обычно бывает в жизни, ограничиться среднеарифметическим вежливым любопытством и закрыть доступы в себе как наверх, к Богу, так и вниз, в Аид, то, по всей видимости, нам навсегда придется оставаться в Чистилище земного бытия, или, как говорят буддисты, в круговороте вечного перерождения: что мы, собственно, и делаем.

3

Нас взгляд чужой и пристальный в толпе тревожит
тем, что пытается с наскока угадать,
то, что мы сами о себе всю жизнь, быть может,
путем анализа стараемся узнать, —

но этот скорбный и приятный труд напрасен,
поскольку человеку не познать себя,
однако как он в собственных глазах прекрасен,
в себе предвечную загадку возлюбя!

и все-таки, в душе не будучи уверен,
что на вопрос о смысле жизни им ответ
отыскан тот один-единственный, что верен,
как вера, что над мраком торжествует свет, —

он, то есть мы, со стороны подсказки ищем:
как школьник, вызванный не вовремя к доске, —
нам брошен взгляд в толпе, как милостыня нищим,
как жемчуг, после бури найденный в песке.

IV. Баллада об Откровении Посреди Толпы

1

Запад для жизни хорош. Вам любой эмигрант из России
это тотчас подтвердит. Социальных здесь множество благ.
Также истории дух, начиная с империи Римской,
камень любой издает. О приличии жизни во всем
нечего и говорить. Но внимание я обратил бы
на один тонкий нюанс: посмотрите на здешних людей,
и попытайтесь найти, что зовется душой в человеке,
то, что понятно без слов, что прозрачно, как в небе лазурь.
С вами побьюсь об заклад, что такого вы в них не найдете.
Четкого нет в их душе разделения на зло и добро.
Все это именно то, что с избытком мы в русском начале
видеть привыкли. Оно почему-то отсутствует здесь.
Но, глядя людям в глаза и единый не видя в них образ,
чувство рождается в нас, будто смотрим мы в звездную ночь.
Есть ли в пейзаже ночном хоть намек на гармонию мира?
Нет и в помине его, хоть привольно жить в мире таком!
Что за великий простор, пусть совсем непрозрачный по духу,
нас обнимает в ночи! И вот точно такой же простор
я ощущаю всегда, в узких улочках старой Европы
снова без цели бродя... Мне хотелось бы очень понять
тайну российских пространств, что в разы превосходят Европу:
значит, по духу они должны ближе и к звездам стоять...
Но порождает тоску, точно в тесной вы заперты клетке,
русский бескрайний простор. Здесь загадка и русской души.

2

Только вкусив неотразимое очарование толпы на центральных улицах европейских городов, только обратив внимание, что любой прохожий здесь настолько чертовски интересен, что от него невозможно оторвать взгляд: по крайней мере, пока он не исчезнет из вашего поля зрения, и это несмотря на то, что при полнейшей нашей минутной в нем заинтересованности вам совершенно безразлична по сути его биография – таково даже главное условие внимательно-бескорыстного созерцания людей на улице – и только осознав, что в этой глубочайшей и неустранимой фрагментарности человеческих судеб, более того, в самой принципиальной незаконченности любого куска жизни, откуда бы его ни отхватить, заключается не только первичная характеристика бытия, но и его жанрово-эпическая подоснова, – только тогда исчезает раз и навсегда вкус к театру как таковому, исчезает физическая возможность присутствовать в набитом зале, исчезает способность даже в талантливой актерской игре признавать великое искусство, исчезает готовность видеть интересную и живую интригу на месте всего лишь намертво выдуманного сюжета, – да, после урока, преподанного уличной непосредственно-

стью, пропадает вкус ко всему условному, и только одно кажется странным и непонятным: как мог он (вкус) так долго держаться.

В самом деле, удавшееся произведение искусства, с одной стороны, настолько самостоятельно, что прямое и буквальное вмешательство в него художника сразу и намертво его убило бы, но, с другой стороны, оригинальный автор узнается с трех строк, иногда по первой мелодии или после беглого взгляда на полотно, истинный шедевр не нуждается в опоре на автора, однако без последнего искусство тоже непредставимо: сходная двойственность проглядывает в жизни любого человека, – каждый из нас в одном плане есть «черновик», состоящий из бесчисленного множества мыслей, чувств, слов и поступков, а в другом и «высшем» плане он же суть и собственный «образ», под которым следует понимать неповторимый характер, вполне своеобразные взаимоотношения с людьми, а также индивидуальную биографию, которая, в зависимости от значимости человека или перспективы зрения, может превращаться в судьбу, а то и в провидение.

Действительно, когда наблюдаешь за людьми на улицах европейских городов, кажется, что они, непроизвольно подчиняясь какому-то выше них стоящему природному игровому инстинкту, на короткое время – словно только для того чтобы пройти перед зрителями в новом амплуа – перевоплощаются в каких-то персонажей, пусть очень похожих на себя, но в то же время и чуточку других, по крайней мере, непосредственное впечатление от них таково, что в семье они должны быть несколько иные, нежели на улице, а на работе и вовсе не похожи ни на тех, ни на других, но мы заранее и от души верим в их малые житейские перевоплощения, а если верим, значит признаем в них некоторое крошечное, но истинное лицедейское искусство, причем чем шире шпагат между ролью и тем, кто ее играет, тем талантливей актер, когда же нам, в виде исключения, вовсе не удалось распознать в герое знакомого актера – а такое часто бывает в лучшем кино и такое нередко происходит на обыкновенных европейских улицах – тогда мы имеем дело с апогеем актерского мастерства.

А вот на российских и даже столичных проспектах несколько другая игра: там люди видят друг друга насквозь – точно смотрят сквозь стекло, вместо того, чтобы наблюдать за собой в зеркалах, то есть в тех же стеклах, но с темной непрозрачной основой, последние не позволяют по природе своей всмотреться в них до дна и подарить человеку дурную и неоправданную иллюзию, будто он все до конца в своем ближнем понял, – вот почему зеркала создают некоторую естественную и непредвзятую атмосферу скромной тайны и повседневного волшебства, тогда как стекла служат, как правило, лишь трезвым и практическим целям.

Да, когда смотришь в зеркало, то даже сам себе немного удивляешься, и это хорошо, человек обязательно должен себе немного удивляться, иначе он будет походить на неодушевленную вещь, – в зеркале, между прочим, вообще нет неодушевленных вещей, там мир замкнут на себя, самодовлеющ и уникален и плюс к тому еще отражен – его не пощупаешь, и вот он уже по одной этой причине начинает магически притягивать, как недостижимый идеал, а через стекло мир только растекается, как вода сквозь пальцы, создавая ощущение неустранимой, фатальной реальности, в которой столько скуки, предсказуемости, морального шаблона, дурной повторяемости и поразительного однообразия, что она скорее напоминает сон, нежели живую жизнь, и как в кино постоянно присутствует иллюзия, что все обошлось без искусства: мы не видим ни режиссера, ни сценариста, ни актеров между сценами, ни статистов, ни всех тех, что обступили с камерами, прожекторами и тысячами вспомогательных приборов ту сцену, которую мы в данный момент наблюдаем, и мы не можем никак вмешаться в игровое действие, тогда как в театре все-таки можно незаметно подмигнуть актеру, и только сообразно этой иллюзии и в пропорциональной от нее зависимости рождается драгоценное и по сути центральное ощущение великого удивления от искусства, – так в театре это последнее начисто отсутствует и не может не отсутствовать, а само великое – потому что метафизическое – удивление деградирует до уровня всего лишь чувственного смакования от мастерской игры.

Итак, рассуждая в гиперболах, театр – как наша сиюминутная жизнь, в которой еще что-то можно поправить, кино – как наша же прожитая жизнь, в которой поправить ничего уже нельзя: тут и размах, и необратимость каждого шага, и вытекающие отсюда серьезность и величие, и судьбоносность, но, как сказано, и некоторый шок по причине опять-таки непроходимой дистанции между зрителем и актером.

Вообще же, когда в любом постороннем человеке нутром ощущаешь пусть даже малый и незначительный, но самостоятельный и ни к чему не сводимый мир, концы которого, как любил говаривать наш незабвенный Федор Михайлович, сходятся в «мирах иных», тогда и себя самого посреди этого мира воспринимаешь как крошечную звезду в бесчисленном сонме больших и малых мирозданий, – и потрясает тогда душу самый великий из всех доступных нам просторов: простор звездного неба.

Так вот, крохотное, но истинное его подобие переживаешь иногда на улицах европейских городов, – не потому ли мы сюда приехали? и как иначе объяснить пророчество того же Достоевского о том, что Европа нам, русским, быть может, внутренне ближе и дороже, чем самим европейцам? подобно потерпевшим кораблекрушение морякам, вынужденным сутками пить морскую воду, от которой они сходят с ума и гибнут, мы тоже давно обезумели от недостатка подлинного живого духовного простора и необходимости пить вместо его нектара мертвую воду пустого и давящего на душу бескрайнего пространства.

Еще раз! не признавая метафизической – то есть попросту не до конца проницаемой – личности в собрате, мы добровольно лишаем себя дополнительных и важных экзистенциальных измерений, на отсутствие которых потом жалуемся и для восполнения которых едем за границу – не потому ли русский человек производит глубоко театральное впечатление, в противоположность человеку западному, сходному с образом кино? и конечно же, возвращаясь назад, театральная игра – не по форме, но по субстанции – больше похожа на «черновики» любого человека, тогда как персонаж кино скорее созвучен с его внутренним и окончательным «образом»: положим, всего лишь проходной нюанс, но в нем великий смысл.

3

Есть в лицах западных людей один оттенок,
что заставляет задержать на них наш взгляд, —
так мастерский портрет, идущий за бесценок,
вдруг незаметно оживит торговый ряд.

В дотошном множестве душевных свойств пытаюсь
их образ светлый и единый отыскать, —
то, что душой в простом народе называясь,
из века в век нас продолжает волновать,

мы смотрим долго на старинные картины,
не в силах глаз от них пытливых оторвать, —
но больше, чем от лицезрения витрины,
мы смысла в них так и не можем распознать.

Так точно испокон веков по миру бродим
мы в поисках Того, Кто сотворил его, —
и то, что все-таки Его мы не находим,
нам кажется таинственней всего.

Так что и европейцев сдержанные лица
прежде всего похожи на пустые зеркала, —
и будет вечно непрозрачность из них литься
на нас по принципу зеркального стекла.

V. Баллада об Анфасе и Профиле

1

Когда мы смотрим на медали и монеты римских императоров, то их профили как-то особенно легко и незаметно позволяют нам скользить по времени их правления, точно по гребню волн, раздвигая мыслью и воображением известные нам факты эпохи, мы скользим в узкой лодчонке нашего индивидуального сознания по морям и океанам минувшей жизни и, кажется, любой анфасный лик в качестве компаса задержал бы наше плавание, заставил бы остановиться на каких-то отдельных чертах характера правителя или его эпохи, но профиль... по профилю можно скользить без препятствий и сколько угодно, а в образе скольжения мы всегда безошибочно узнаем почерк бытия, которое, как последний иерархический чин, скрепляет своей подписью любое событие текущей под его невидимым присмотром жизни, – вот почему все в мире движется в едином направлении, но бесконечная прямая, куда бы она ни отправлялась, рано или поздно замыкается на саму себя: таким образом описывается виртуальная окружность, которую мы никогда вполне физически не ощущаем, но помимо которой наш космос решительно не в состоянии вообразить.

В самом деле, и небесные тела, и само мироздание в целом мы не можем помыслить иначе, как по образу и подобию шара, – тем самым вполне удовлетворительно решается знаменитая антиномия конечности – бесконечности Универсума: ведь сколько бы ни скользить – уже мыслью, но никак не космическим кораблем – по краю космоса, никогда не натолкнешься на какой-нибудь предел, но само скольжение Мысли или Духа будет совершаться по какой-то окружности, означающей предел нашего мышления и знания на данный момент: диаметр гигантского шара, в котором мироздание и мысль человека о нем слились воедино, будет, очевидно, непрестанно увеличиваться, но принцип вряд ли изменится, – точно так же мы уезжаем, чтобы возвратиться домой, так Гете сказал насчет отпусков: перефразируя его мысль, можно заключить, что мы рождаемся, чтобы умереть, однако, строго говоря, мир, из которого вышел младенец, ничего общего не имеет с тем миром, куда, по всей вероятности, войдет старец, и если бы речь шла о чистом и последовательном возвращении к первоисточнику, то мы должны были бы, достигнув определенного возраста, возвращаться назад, как в известном романе Скотта Фицджеральда, то есть от старости в зрелость, оттуда в юность, дальше в детство, из детства в младенчество, и наконец в зародышевую клетку, а затем в чистое ничто: но мы все-таки уходим в старость и разве что, проделывая этот тысячу раз пройденный путь, обнаруживаем, что все, что мы осуществили в жизни, было не столько свободным творческим созиданием, сколько высвобождением того, что было заложено в нас с детства, как семя в растении, а это как раз и значит, что, уходя в старость, мы в каком-то очень глубоком и подспудном смысле возвращаемся в детство.

2. Перед зеркалом

Когда мы в зеркале подчас свой видим профиль,
соблазн в нас тонкий подымает круговерть,
и гордость шепчет в сердце, точно Мефистофель:
«Смотри так на себя и – и победишь ты смерть!»

И точно – в выгодном всегда представит свете
все наши мысли и поступки взгляд косой, —
так что по воздуху придется на рассвете
махать ожесточенно Женщине с Косой.

Когда же обратим в себя мы взор анфасный —
так в подсудимого вонзает взгляд судья:
прямой, суровый и отнюдь не беспристрастный —
то в нем любое человеческое Я,

кривляясь в пламени, мучительно сгорает,
хоть оправданье ищет, как в избе иглу, —
и лучшие частицы жизни собирает,
но видит в них одну истлевшую золу.

3

Да, мы знаем, что мы смертны, что наши испытания и страдания когда-нибудь раз и навсегда закончатся и что то тело, в котором накапливаются болезни и боли, которое обезображивается с годами и как бы невольно нас компрометирует, тоже когда-нибудь исчезнет с лица земли, – но одновременно и с той же самой искренней целеустремленностью мы замедляем нашу смертность, цепляемся до последнего за жизнь, предпочитаем любые болезни и боли их исчезновению, то есть смерти.

Находясь в смертельной опасности, мы приближаемся к самым ужасным мгновениям нашей жизни, каковые символизируют нож убийцы, падение лайнера или пасть крокодила, ужасней этого вроде бы ничего быть не может, но, приближаясь к ним, мы, как однозначно показывают опросы людей, стоявших на пороге, как им казалось, неминуемой смерти, и оставшихся в живых, одновременно приближаемся и к переживанию неопишемого блаженства, заменяющего в последний момент ужас, как в один голос свидетельствуют те же очевидцы.

Мы ценим любовь, на словах признаем ее высочайшим на земле благом, мы от всей души хотим верить той религии, которая, можно сказать, в математической зависимости от степени осуществленности любви в этой жизни определяет нашу посмертную участь, – и однако одновременно количество любви в нас как бы тоже есть своего рода математическая постоянная, мы не можем давать больше любви, чем это нам дано от рождения, и даем ее обычно тем людям и постольку, которые и поскольку либо вызывают нашу естественную симпатию, либо сюжетно вплотную к нам примыкают, каковы родственники, друзья, женщины и тому подобное.

В первые минуты великой влюбленности мы заглядываем в глаза любимой женщине – и видим там, наряду со взаимной любовью, еще и некое неопишемое в словах волшебство, – и вот оно-то, это самое волшебство, одновременно с развитием отношения начинает необратимо сходиться на нет, и нет решительно никакой возможности остановить исчезающее на глазах волшебство влюбленности.

Мы в интимных связях теснейшим образом привязываемся к особам противоположного пола – таков, казалось бы, великий смысл половой любви – но одновременно и параллельно та же самая физическая любовь по самой своей природе, постепенно и неизбежно ведет к ослаблению чисто человеческой близости, а то и к ее полному разрушению, – и только те пары могут стать счастливыми исключениями из этого печального правила, которые научились великому искусству любящего управления человеческим началом начала полового.

Даже став буддистами, мы стремимся к освобождению от желаний, но одновременно мы всего лишь очищаем душу и сердце для более тонких и чистых желаний, которые, подобно сновидениям, спят в общечеловеческих архетипах, так что полное отсутствие желаний – как и жизни, расцветающей на их основе – по-видимому, просто онтологически невозможно.

Испытывая сострадание к страдающим мира сего, мы замечаем, что страдание безбрежно, как мировой океан, и что ежеминутно на свет божий рождаются для страдания миллионы живых существ! да, мы ощущаем искреннее сострадание ко всем, кто страдает, но одновременно испытываем и некоторое глубочайшее метафизическое недоумение, которое возникает на почве осознания неизбежности страдания как такового, и как следствие бросает некоторую тень сомнения на само чувство сострадания.

4. Лесная дорога

Как выразительна дорога
посреди леса без людей!
она не ведает ни бога,
ни человеческих идей.

Ее завидев, сердце знает,
что цель заветная близка,
и ноша, что обременяет,
так вдруг становится легка!

Пойдем по ней и мы с тобою:
там, если правильно идти,
нас ждут с раскладкою любой
развилки нового пути.

5

Узнавая по телевизору или из газет о какой-нибудь очередной чудовищной катастрофе, мы искренне сочувствуем жертвам, но одновременно испытываем и некоторое постыдное любопытство, которое идет рука об руку с сочувствием, невольно его компрометируя, и это давно уже известно и принадлежит человеческой природе, а лучше всего об этом сказал римский поэт Гораций: «Сладостно наблюдать с надежного берега за терпящими в бурном море кораблекрушение», – и тем не менее килограммовое любопытство не упраздняет граммового сочувствия: эти нравственно мнимо несовместимые чувства все-таки в нас прекрасно уживаются.

Мы постоянно надеемся на удачную личную судьбу, но параллельно на каждом шагу наталкиваемся на необозримое множество чудовищных несчастных случаев: сознавая, что такое могло бы вполне случиться и с нами и что мы, положив руку на сердце, не заслужили лучшей по сравнению с неудачниками доли, мы все-таки одновременно продолжаем в глубине души просить «наших» богов о поддержке, а заодно и самодовольно верить, что наша карма чуть лучшая по сравнению с ними.

Мы нуждаемся в людях и потому с таким сладостным самозабвением растворяемся иной раз в толпе, но одновременно мы склонны достигать так называемой «критической точки обще-

ния», после которой толпа невыносимо раздражает нас и мы, чтобы не сойти с ума, должны остаться наедине с собой.

Мы непрестанно разочаровываемся в посторонних людях, но одновременно догадываемся, что иными эти люди быть не могут, именно потому, что они – посторонние, и тогда мы поневоле примираемся с ними, но наше разочарование в них до конца все-таки не исчезает.

Мы стараемся искренне забывать обиды и даже прощать их, но одновременно замечаем, что никакие конфликты в жизни не проходят бесследно и что, искренне стремясь к восстановлению добросердечных отношений с бывшим оппонентом или врагом, мы все-таки наталкиваемся на невидимую границу, показывающую, что дальнейшее улучшение общения невозможно, и тогда вместо углубления отношения начинается недоуменно-болезненное движение психики по замкнутому кругу.

Мы на протяжении всей жизни только и делаем, что обустроиваем родимый очаг: семью и дружество – и как бы накапливаем тепло на узком и тесном, окружающем нас участке жизни, но одновременно мы движемся к финалу, где этот очаг будет неизбежно разрушен – и в таком странном, самоупражняющем движении не находим ничего предосудительного.

Мы очарованы бесконечным разнообразием мира, но одновременно замечаем, что сами суть то окно, через которое мы видим мир: окно это постепенно запотеваает и покрывается пылью, – и мысль, что мы всю жизнь видели не мир сам по себе, а всего лишь пейзаж из грязного и запотевшего окна, все чаще нас навещает, хотя ничего не меняет.

Как следует узнав себя к середине возраста, опробовав собственные сильные и слабые стороны, у нас обычно появляется ощущение, что жизнь сложилась не так, как она должна была бы сложиться, нам кажется, что в иных условиях мы раскрылись бы полней и самостоятельней, но одновременно в глубине души мы все больше убеждаемся, что все вышло именно так, как и должно было выйти и что иначе быть не могло, так что все самое существенное в нас эта наша жизнь с преизбытком выставила наружу.

6. Заветная просьба

В погоне за духовным урожаем —
кто с этим феноменом не знаком? —
себя мы иногда воображаем
большого мастера учеником, —

и как бы соблазненные богами,
отвергнув путь обыденный, но свой,
спешим мы семимильными шагами
пусть и к прекрасной цели, но – чужой.

Так собираются фанаты в зале,
чтоб насладиться зрелищем звезды, —
но зрителем быть в этом ритуале
ни для кого особой нет нужды.

Куда как лучше за поливкой грядки,
за книгой иль кормлением кота
встретить Того иль Ту, кто без оглядки
доставит нас... в знакомые места, —

где та же нам откроется дорога,
и будем мы, идя по ней, стареть,
а под конец опять попросим Бога,
чтоб дал нам своей смертью умереть.

7

Так что в итоге, родившись, мы двигаемся во времени к расцвету жизни и далее к ее концу, то есть мы с каждым шагом приближаемся и к жизни, и к смерти: казалось бы, взаимоисключающие координаты и разные пути, но нет – это именно один и тот же путь, потому что приходится допустить, что, идя к смерти, мы одновременно идем и к нашему следующему рождению, – и путь жизни уподобляется кривой, замыкающейся на себя и вырисовывающей... что? разумеется, всего лишь наш собственный профиль и ничего больше, но могло ли быть иначе?

Ведь как художник в дневниковых записях и черновых вариантах набрасывает пунктиром характеры персонажей, разрабатывает сюжетные перипетии, меняет местами сцены, сдвигает и раздвигает время действия, – так точно мы живем и движемся в повседневной жизни, но стоит нам внимательно взглянуть на себя со стороны, задуматься, почему наша жизнь так сложилась, как она сложилась, припомнить основные фазы биографии, вспомнить мнения о нас людей нас знающих и любящих, а также критически к нам относящихся, представить себе иное течение жизни и скоро его отвергнуть как надуманное и несущественное, – итак, стоит нам проделать этот болезненный, но невероятно полезный для души эксперимент, как тотчас из расползающихся во все стороны черновых биографических зарисовок выступит более-менее ясная сюжетно-образная канва.

8. Лесная тишина

В лесу осеннем, просквоженном низким солнцем,
иной раз странная повиснет тишина:
так в доме нежилом, за выбитым оконцем
мерещится нам жизнь, – но где и в чем она?

Ее постичь – как с собственной обняться тенью:
быть может, тайный Замысел о нас таков?
пусть даже по чьему-то шучьему веленью
неисполнимым был он испокон веков.

Невидимая жизнь нам не дает покоя,
сама предельный демонстрируя покой, —
так с нашей вытянутой в зеркале рукою
нельзя соединиться чувственной рукой.

И цель последнюю достигнув ненароком,
цель жизни: с чем-то Высшим слиться в тишине,
но так, чтоб это школьным не было уроком,
бредем мы дальше, но вовнутрь, а не вовне.

И вот, чтоб снова эту истину проверить
на личном опыте – все прочее не в счет,
я в ближний лес иду – там тишину измерить,
миры иные больше не беря в расчет.

А то, что среди леса узкая дорога —
теперь, как в первый день творенья, без людей —
в буквальном смысле означает слово Бога, —
я к лучшей отнесу из всех моих идей.

Хотя, по правде, когда мы пойдем с тобою
по ней, то не придется долго нам идти:
известно все – и мы с раскладкою любой
упремся только в выбор нового пути.



9

Ситуация коренным образом меняется, когда тот или иной отрезок жизни заканчивается и замыкается на самом себе, становясь по субстанции уже фазой бытия, но и тогда остается некоторая стилистическая незаконченность, которая оставляет на языке привкус эстетической неудовлетворенности, последняя исчезает вполне лишь тогда, когда заканчивается вся жизнь, – только полный и необратимый финал расставляет окончательные акценты: вот почему смерть, являясь антиподом жизни, выступает одновременно главным творческим инструментом бытия, она для него – как слова для поэта, как краски для живописца, как звуки для композитора, как мрамор для ваятеля.

Великим таинством смерти бытие запечатывает жизнь, придавая ей раз и навсегда тот высший и глубоко художественный смысл, который равно далек как от теологического оправдания жизни, так и от полного нигилизма, смысл этот тем более заслуживает внимания, что как-то сразу и насквозь пронизывает нас – от кожных рецепторов до самых субтильных и одухотворенных глубин нашего существа, – и вот оптическим аналогом человеческого бытия является, как нам кажется, взгляд в профиль.

VI. Баллада о Возвращении

1. Эпиграф к Возвращению

Снова домой
после дальней поездки вернувшись,
мир и покой
на душе ощущаете вы,

мир и покой —
они очень похожи на небо,
прочих же чувств
совокупность — она как земля, —

но как не то
небо за самолетным окошком:
скучно оно
и ужасна его пустота,

в то время как
в него глядя из грешного мира —
снизу наверх —
все величие видишь его, —

так, если вы
слишком долго в покое и мире
будете жить,
они пресными станут для вас, —

вот почему
посреди приключений житейских —
да, только там —
мы предвечный находим покой,

и дом родной
в юном возрасте мы покидаем,
лишь для того,
чтоб под старость вернуться в него:

оба пути
в основание и жизни и смерти,
видно, лежат, —
было так, есть и будет всегда,

и никогда

им в окружность одну не замкнуться,
как никогда
сердцу слиться с умом не дано, —

ну и потом —
возвращение больше чуть весит,
нежели путь,
что предшествовал в жизни ему:

значит ли то,
что когда-нибудь жизни не будет
и бытие
в чистом виде заменит ее?

этот вопрос —
как эпитафия ко всей нашей жизни —
пусть же теперь
и поставит все точки над i.

2. Пролог к Возвращению

Возвращаясь домой после очередной воскресной прогулки, я иду обычно через центр города, где каждый отрезок маршрута, будучи пройден многие тысячи раз, напитан воспоминаниями, как кусок янтаря медом веков, конечно, иной раз думаешь: а не свернуть ли в какой-нибудь малознакомый переулок, чтобы придать ритуальному пути хоть какое-нибудь разнообразие? однако, поразмыслив минуту-другую, я продолжаю идти по знакомому маршруту, точно какая-то посторонняя сила не позволяет свернуть в сторону, — так, наверное, малоопытный рисовальщик, отрабатывая чей-нибудь профиль и найдя правильный абрис, уже не рискует новым штрихом отклониться от него и лишь по инерции повторяет карандашные росчерки, отчего рисунок делается толще и отчетливей, причем эта примитивная в своей основе весомость не только не боится однообразия, но даже откровенно и точно кому-то назло всячески ее подчеркивает.

Впрочем, из тех же самых штрихов состоит и обыкновенная жизнь: рождение, шалости детства, любовь, семья, работа, болезнь, старость, смерть, — все это уже было и будет тысячу раз — это и есть профильный рисунок любой жизни, неоднократно наносимый и повторяемый на фоне никогда не прекращающегося бытия, — и вот, запомнив его, можно сказать, на генетическом уровне, мы инстинктивно воспроизводим его где надо и где не надо, в данном случае, пожалуй, скорее где не надо: когда я, например, возвращаясь с воскресной прогулки домой, стараюсь ни на шаг не отклониться от привычного маршрута.

3. Притча о Возвращении

Колокол громко звонит — но по ком?
сын возвращается в отческий дом:

сколько провел на чужбине он лет,
в землях каких ни оставил свой след...

Свет повидать для мужчины не грех —
вот домоседа поднимут на смех,

плохо, когда, инородством греша,
к землям чужим прирастает душа.

Год на двадцатый несчастная мать
сына устала на родину звать, —

в доску отчаявшись – шутка ль сказать?
мать перестала звонить и писать.

Да и отец выбивался из сил,
выпороть сына он даже грозил:

«Нет, уж позволь, – говорил он в сердцах, —
не на таких ведь, как ты, подлецах

держится русская наша земля:
всем докажи, что ты лев, а не тля —

страх победы ты вернуться домой,
чтоб я сказал – сын воистину мой!

да и к тому же, с библейских времен
знают сыны всех великих племен:

вновь на круги возвратиться своя
есть непреложный закон бытия».

Мрачным предчувствием с детства томим,
в путь отправляется сын-пилигрим:

всем европейская жизнь хороша, —
что же так плачет родная душа?

Должно вернуть ей мистический долг,
только кому – не возьмет она в толк,

чувствует: минула чтобы беда —
лучше сейчас, чем совсем никогда.

Подлый свой страх наконец одолев, —
стал он не тля, а воистину лев, —

сын возвратился в отеческий дом —
колокол плачет: и знает, по ком...

4. Квинтэссенция Возвращения

Если Будда действительно прав и мы обречены рождаться снова и снова, пусть в разных обликах, и ничто не может не только упразднить, но даже просто ослабить этот великий космический закон, и мы на самом деле уже не раз приходили на эту землю и просто не можем вспомнить, когда, где и как именно это было, – короче говоря, если все это действительно так и никак иначе, то сама невозможность вспомнить о прежних инкарнациях, по-видимому, только и спасает нас от безумия осознания тысяч и тысяч нанизанных друг на друга, подобно пестрым бусинкам, жизней, потому что все эти жизни, будучи связаны таинственным законом кармы, психологически для нас никак не связаны, и – всего лишь в качестве гипотетического примера – чем больше мы бы о них узнавали, тем абсурдней они бы нам казались, так что всего лишь узнавание того факта, что наша мать, которая в силу предвечной раскладки ролей, должна быть нашей матерью и никем больше, была когда-то... да кем угодно, но только не нашей матерью, мгновенно и радикально обратило бы весь этот мир в абсурдный спектакль: недаром тень абсурда лежит на нашей жизни, и мы эту тень смутно улавливаем боковым зрением.

Но если бы наша память вдруг раскрыла скобки наших предшествующих существований, и тень абсурда, разросшись и поглотив привычные контуры бытия, выступила бы на сцену мира во всем своем сумасшедшем великолепии, то каждый из нас увидел бы себя в роли человека, покинувшего рождением дом родной и на протяжении всей жизни к этому дому родному возвращающемуся, и окончательное возвращение означало бы смерть.

Это как если человек после долгих странствий возвращается на свою старую родительскую квартиру, он намерен стучать в дверь до тех пор, пока ему не отворят, – и просить у отца с матерью прощения, если надо, на коленях, за то, что он забыл про них или же умереть на пороге родного дома, но, миновав лестничный пролет, отделявший подъездное окно от родительской квартиры, он знакомой двери не найдет, а на месте квартиры, из которой он когда-то, давным-давно вышел в мир, будет зиять сплошная каменная ниша, и ради пушного правдоподобия будет еще, наверное, пахнуть известкой.

И тогда блудный сын пойдет по лестнице наверх: в надежде, что он ошибся этажом, он отсчитает тысячу ступеней, а потом, вымотавшись и потеряв ощущение времени, присядет на холодный пол, он забудется и начнет вспоминать, как когда-то выбегал по этой лестнице во двор, как писал нецензурные надписи на стене, как ходил в родной сад, как ездил в город, чтобы посмотреть новый фильм, и припомнится ему, как это обычно бывает в столь важную минуту, еще множество иных, не идущих к делу подробностей, не сможет он только вспомнить одного: когда же именно, на каком этапе своего возвращения на родину он сам умер – и это будет самым неприятным во всей истории.

Да, действительно, возвращение только тогда полное и окончательное, когда человек покидает родные края надолго, а то и навсегда, не надеясь, а может быть, даже втайне и не желая возвращаться, и вот после как минимум двух десятилетий, подчиняясь настойчивому требованию обстоятельств – тут и мольбы родителей «увидеться напоследок», тут и непреодолимое любопытство соотнестись хотя бы один раз с друзьями и приятелями (как они распорядились жизнью? и чего в ней достигли? и в чью пользу вышло соревнование судеб?), тут и уникальная возможность посмотреть, как насиженные места, будучи символом мира как такового, изменились за двадцать лет – человек этот, наконец, решает возвратиться.

Но делает это не торопясь, оформляя свое возвращение по всем правилам искусства: он, во-первых, приезжает в родной город не с обычной, западной стороны, а с противоположной восточной, потому что там у них с отцом и матерью был когда-то сад, и в этот сад он приходил работать с весны по осень еженедельно в течение долгих-долгих лет, а однажды даже застал в саду отца с любовницей, короче говоря, поскольку сад оказался самым незабываемым и тоск-

ливым его воспоминанием, и еще, поскольку он странным образом связывал их развалившуюся семью, а также, поскольку сад стал со временем и в европейском далеке воплощать с его точки зрения всю российскую сновидческую реальность, – постольку он через Европу, Америку, Японию и Сибирь возвращается в родную квартиру именно через сад, и в нем предварительно встречается с давно живущими в разводе отцом и матерью – он даже поставил условием своего возвращения приезд их в сад в установленный день и час – а потом, молча посидев за самодельным столом, выпив водочки, вкусив и колбаски, и нехитрый салат из только что собранных овощей – новый владелец сада за скромную плату предоставил сад в полное распоряжение его прежних владельцев – они идут уже на старую квартиру, где он родился и вырос и в которой проживала теперь одна мать.

И там их ждут многие из тех, кого он знал до отъезда, и стол накрыт яствами, и чтобы передать друг другу все накопленные за двадцать лет впечатления, не хватит, кажется, и года... и вот они окунаются воспоминаниями в прежнюю жизнь как в омут, все глубже и глубже – и то сказать: только она, эта бывшая жизнь до отъезда на Запад ему только и снилась, тогда как его хваленое существование за границей, в котором он якобы «души не чаял», не приснилось ему ни разу! – и кажется уже нашему великому возвращенцу, что бывшие участники его довыездного жития-бытия так плотно его обступили, что из их смертоносного кольца ему уже не выбраться, что и речи нет о том, что ему нужно рано или поздно возвращаться в Европу, где у него тоже семья: жена и сын и кое-какие новые знакомые, и работа, да и вообще: новая жизнь, куда там!

Незаметно, под шумок и стопочки! стопочки! стопочки! строятся планы его женитьбы на девушке, с которой они сидели когда-то за одной партой и которая умудрилась так ни разу и не выйти замуж (поистине знак судьбы!), и она сама жмет к нему за столом, а все либо отводят глаза, либо понимаяще им подмигивают, а кроме того со всех сторон заводятся странные, многозначительные, неслышанные, безумные разговоры о том, что «человек только для того и уезжает, чтобы возвратиться», и вот уже его первая учительница: старушка, которую он еле узнал, подымает дрожащей рукой тост за «того, кто нашел в себе силы наконец вернуться в родимое лоно», а неузнаваемо грузный полковник (давно в отставке) внутренних дел с начисто стертыми чертами лица предлагает выпить за «человека, который сыграл особую роль в истории нашего города, которого в свое время мы выпустили за границу с дальним умыслом: чтобы в один прекрасный момент он сам и добровольно вернулся, продемонстрировав всему миру, что как ни хороша для русского человека граница, а по большому счету лучше отчизны для него в мире ничего нет и быть не может», и следом родной его отец, почему-то метая на сына недоброжелательные взгляды и в неприятных подробностях пересказав, как они с матерью на протяжении десятилетий уговаривали его хотя бы раз посетить родину («ну точь-в-точь тащили его из Европы, как больной зуб изо рта»), добавляет, «что пусть за границей хорошо жить, зато умирать нужно только там, где родился».

И вот тут уже наш герой по-настоящему настораживается, нехорошее предчувствие (которое он всю жизнь имел: потому, наверное, и не хотел приезжать) пронизывает его до костей, и он решает бежать: сию же минуту и под первым благовидным предлогом он покидает родную квартиру, но застольники, конечно, его не хотят отпускать, пытаются удержать и даже бегут за ним, но он все-таки в последний момент вырывается и захлопывает за собой тяжелую дверь... куда теперь? скорее в аэропорт, благо паспорт и деньги при нем, а вещи... до вещей ли теперь? и вот он бежит сломя голову вниз по лестнице, но что за чудо? вместо двух лестничных пролетов он насчитывает пять, десять, двадцать, тридцать... спускаться дальше ему уже страшно и он возвращается назад, по пути, впрочем, его осеняет спасительная мысль: здесь было когда-то окно, да, вот оно, и подле него лежит лунная полоса – светлая и ровная, настолько слившаяся с подъездным интерьером, что, кажется, отделить ее от пола можно разве лишь отбив ломиком верхний слой, а какая огромная луна висит над землей! и в лунном свете перед ним коснеет знакомый двор без единой людской души, сплошь залитый лужами, в кото-

рых без особых искажений, придавленный луной как пресс-папье, отражается слитный силуэт дома, тополей и сараев и в них же, нисколько не портя пейзажа, застыли старые газеты, стаканчики из-под мороженого и прочий мусор.

И вот он разбивает первое и внутреннее окно, отодвигает раму, собирается таким же способом расправиться и со вторым внешним, как вдруг... кулак его с размаху натывается на стенку, смяв и продырявив картон: какой ужас! это было не настоящее окно, а всего лишь безукоризненно выполненная декорация дворового ночного лунного пейзажа, приклеенная каким-то шутником в каменной нише... откуда она взялась? кто был автором рисунка? когда и как окно подменили нарисованной копией? и, главное, с какой целью? все это были вопросы, на которые только пронзительная щемящая боль в сердце да смутное сознание сгущающейся над ним безнадежности были ответом.

И тогда, цепляясь за жизнь, он со стыдом плетется на старую свою квартиру, откуда только что сбежал: он теперь намерен стучать в нее до тех пор, пока ему не отворят, и просить у отца с матерью на коленях прощения или умереть на пороге родного дома, но, миновав лестничный пролет, отделявший подъездное окно от родительской квартиры, он знакомой двери не находит: квартира, из которой он несколько минут назад выбежал, непостижимым образом отсутствует, а вместо двери зияет сплошная каменная ниша и пахнет известкой.

И тогда, тихо заплакав, он идет наверх, без цели и без смысла, просто потому что физическое движение было последней посланной ему Провидением отрадой: шагать или бежать, то вверх, то вниз, отмеривая ступени – он насчитал уже больше тысячи! – было все же легче, чем стоять на месте... в конце концов, вымотавшись и потеряв ощущение времени, он приседает на холодный пол: наверное, он ненадолго сумел забыться, потому что ему показалось, что он идет в свой родной сад, но деревья, обрамляющие аллею, стоят голые и корнями наверх.

Припомнились ему, как это обычно бывает в столь важную минуту, и множество иных, не идущих к делу подробностей, зато не мог он вспомнить лишь одного: когда же именно, на каком этапе своего возвращения на родину он сам умер, – и это было самое неприятное во всей истории... – да только тогда и при таких условиях возвращение становится полным и окончательным.

5. Баллада о Возвращении

В далеких семидесятих
двадцатого века он
путем формального брака —
не будучи даже влюблен —

землю родную оставил
ради чужой стороны:
с детства любил он Европу,
как светлые любят сны.

Здесь и засел он надолго:
на добрые двадцать лет,
на просьбы родных вернуться
ни «да» отвечал, ни «нет».

Он возвращенья боялся
даже и как визитер, —

но кто же тоску об отчизне
ему из памяти стер?

Зажил он припеваючи
на Западе, как в раю, —
а мать и отец все ждали
сыночка в родном краю.

Ждали – и письма писали,
а он лишь время тянул,
и каждый из них упрямо
свою все линию гнул.

Его погостить просили,
как принято у людей:
лучше – хотя бы на месяц,
хуже – на пару хоть дней.

Но была в его ответах
какая-то ерунда:
мол, если уж возвращаться,
так истинно навсегда.

Еще условие поставил:
встретиться в бывшем саду,
который давно был продан, —
впрочем, за добрую мзду

новый хозяин уступит
бывшим владельцам их сад
на день, чтоб они забыли
пыльный семьи их распад.

А было в семье их единство,
в супругах была любовь, —
пока в отце не разыграла
к другим вдруг женщинам кровь.

Взрастили сад они вместе —
то есть отец и мать,
и в том же саду он начал
женщин чужих принимать.

Пришлось развестись им скоро,
отец ушел из семьи,
а он подался на Запад,
ища там пути свои.

Не часто ведь так бывает:

родившись в одной стране,
имеешь ты принадлежность
совсем другой стороне:

как будто не там родился,
не счастлив ты там душой, —
здесь проявление тайны,
быть может, самой большой.

К чему клоню я, читатель?
к тому, что совсем не вдруг,
на родину возвращаясь,
земной описал он круг.

Так точно, двигаясь к смерти,
от точки, где рождены,
мы к новому лишь рожденью
идем с другой стороны.

Западней сад находился
дома, где жили они, —
что, если к саду подъехать
с Запада? большей фигни

выдумать, кажется, трудно,
да и оно ни к чему:
два миновать океана
точно придется ему,

плюс к тому целые Штаты,
Азии добрую часть, —
можно о том на досуге
пофантазировать всласть,

но чтобы сделать на деле
оригинальный столь ход...
так удаляют лишь гланды —
через анальный проход.

Все же не может быть большей
в мире земном красоты,
чем торжество над привычной
жизнью безумной мечты:

вот этот жизненный подвиг,
оставшись самим собой,
совершил легко и просто
наш неприметный герой.

И было в саду свиданье,
и скромный, как жизнь, обед, —
потом пошли они к дому
во тьме сквозь полдневный свет.

Им встретился мальчик странный:
собрался он рыб удить
в дождливой громадной луже,
где рыб не могло и быть.

В трамвае сидели люди,
болтая о том и сем,
но лишь он к ним обращался,
в горле вставал у них ком:

будто на чуждом наречье,
он все обращался к ним,
они ж от него скрывали,
каким он был им чужим:

сочувствуя отводили
догадливые глаза,
и взгляд его застилала
обидчивая слеза.

Вот наконец и достигли
они родного двора:
детство припомнить и юность
пришла для него пора, —

минувшая жизнь с отъездом
не только распалась в прах,
мстить за себя ему стала,
являясь все чаще в снах,

тогда как все эмигрантство,
в котором он счастлив был,
ни разу и не приснилось:
но кто же смысл его смысл?

И если у сна со смертью
глубокая общность есть,
не выиграл он ни йоты,
в Мюнхене вздумав осесть:

сойдет с него эмигрантство,
как старая чешуя,
останется русская сущность —
бессмертная, как змея.

И мыслью этой пронзенный,
в которой обмана нет,
опять обратил внимание
на странный вокруг он свет,

и тонкая — ниоткуда —
вонзилась в него печаль,
и больше всего на свете
себя ему стало жаль.

Зачем он сюда приехал?
вернется ли он назад?
в душе поселились разом —
чистилище, рай и ад.

Благо, желая развеять
черные мысли его,
отец ему знак вдруг сделал,
не вымолвив ничего.

И точно: перед подъездом,
взгляд держа у земли,
бывшая одноклассница
что-то чертила в пыли

носком старомодной туфли,
точно карандашом,
и жадно plombир лизала
острым своим язычком.

И спрашивать она стала,
помнит ли он, кто она,
и что у него за паспорт,
и ласкова ли жена,

чем хороша заграница,
какой он проделал путь,
и не хотел бы в награду
мороженого лизнуть?..

От этих странных вопросов
кругом пошла голова,
а в тополях шелестела
цинковая их листва...

И солнце в небе сияло,
и не было облаков, —
это и было мгновенье,

в котором – веки веков.

Даром за все это время
тайны срывая печать,
слова ему не сказала
его же родная мать?

Напрасно хотел он вспомнить,
что было – здесь, а что – там,
поскольку не ясно было,
когда же он умер сам.

6. Легенда о Возвращении

Однако как нельзя сразу и наобум совершить какое бы то ни было великое достижение, в том числе даже такое и всем, казалось бы, доступное, как идеальное возвращение на родину, но к нему (достижению) надлежит прежде долго и терпеливо готовиться, так точно последнему и окончательному возвращению обязательно предшествует своего рода генеральная проба, и она может выглядеть, например, таким образом: молодой человек, покинув отчий дом, скитается долгие годы с какой-нибудь бродячей актерской группой, а потом, возвратившись домой, застаёт отца разбитого параличом и почти лишённого памяти, однако у старика хватает все же сил кротко упрекнуть сына в долгом отсутствии и даже ворчливо попричитать, как трудно было ему, одинокому старику, содержать дом и вести хозяйство, а сын его, устыдясь своего бесплодного отсутствия, возьми да и скажи отцу, что он никуда не уезжал, а все это время был здесь, при отце, тот только запямятовал, ему, сыну, мол, неудобно вдаваться в подробности отцовского недуга.

И вот случилось чудо: отец поверил сыновней истории (память-то у него стала точно у малого дитя), а вслед за ним, дабы не огорчать больного старика, биографическую поправку усвоила и прислуга, а уже за ней, сначала шутки ради, потом по привычке и весь город: постепенно факт двадцатилетнего отсутствия молодого человека в городе как-то незаметно стерся в коллективном сознании его обитателей, и вот уже злые языки начали поговаривать, сколько терпения и почти женской покорности нужно иметь, чтобы в продолжение добрых двух десятилетий ни на шаг не отойти от престарелого отца, пожертвовать юношеской свободой и устройством семьи: поистине такие свойства характера подходят женщине: жене, дочери, подруге, сестре, – но чтобы ими обладал юноша, будущий мужчина и наследник отца – обыватели сомнительно качали головами.

И вот наконец молва о безвыездном житии-бытии сына в четырех стенах отцовского дома доходит до старика-отца, и видит тот скрепя сердце, что люди правы, что не должно мужчине жить подле другого мужчины, точно женщине, даже если это отец родной, но надлежит ему свой путь в жизни проторить, собственный домашний очаг выстроить, семью создать, детей взрастить, и когда придет час, скромно, но с достоинством указать отцу на достигнутое в жизни: то есть ввести его в дом свой и, подведя жену и детей для благословения, просто сказать: «Вот, отец, плоды трудов моих, пусть их немного, зато все честное, доброе, прочное, и всем этим я обязан силе семени твоего, а потому да послужит содеянное мною умножению чести твоей и восстановлению памяти в потомстве, как в свою очередь все достигнутое тобой послужило во благо доброго имени отца твоего».

И так невыносимо тяжело стало на душе старика-отца, что позвал он сына своего к себе и, хотя и знал, что не следовало бы ему этого делать, горькими сомнениями насчет городской

молвы как бы перед ним исповедался, сын же, как легко догадаться, обрадовался несказанно перемене в образе мыслей отца своего и с сердца его точно камень претяжелый упал, и стал он, сначала робко, но с каждой минутой воодушевляясь, рассказывать отцу историю своей жизни, потому как и ему было в ней чем гордиться: ведь снискал он как-никак, совершенствуясь с годами в трудном, но благородном ремесле лицедейства, славу первого актера в той земле, где странствовала труппа, и сам бургомистр здешней столицы наградил его почетной медалью и даже предложил организовать городской театр, но иное было у него на уме, ибо в сердце его, терзаемом укорами совести, созрело уже непоколебимое решение возвратиться в дом отчий.

Да, вот как все было по правде, ничего он от отца родного не утаил, отец же слушал его и слезы у него наворачивались на глазах: он ведь думал, что сын его все это выдумал, чтобы скрасить последние его часы, – и тогда, не желая огорчать любимого сына – он-то понимал, что изменить ничего нельзя – он сделал вид, что поверил ему и поцеловал на прощанье в лоб, сын же его, безмерно растроганный, однако, стараясь казаться спокойным – он безудержным волнением боялся ускорить кончину отца – сказал только: «Подожди минутку, отец, я сейчас вернусь», и побежал в подвал, где у него в походном сундуке хранилась та самая памятная бургомистрова медаль (он прежде стеснялся показать ее отцу)... поднимался он назад веселыми прыжками, преодолевая разом несколько ступеней, вертя увесистой золотой цепью на руке, точно крохотной цепочкой, и насвистывая песенку шута из шекспировского «Короля Лира», одной из любимейшей его пьес.

Когда же он вошел в отцовские покои, то увидел, что отец его мертв, и похоронил он отца своего, и остался в доме его, и вел хозяйство так умело, что приумножил доход от виноградников и масличных деревьев... и семью успел он завести на старости лет, и родился у него сын, и в положенный час поведал ему старик-отец историю своей жизни: «Поскольку я стар, – сказал он молодому человеку, – то надлежит тебе, продолжая семейную традицию, отправиться в путь дальний, но чтобы ты не повторил моих ошибок, тебе нужно оставаться в чужеземных краях так долго, чтобы все прежде знавшие тебя окончательно разуверились в твоём возвращении: лишь тогда докажешь ты людям, а главное, себе самому, что жизнь не театр, и что любую настоящую роль в жизни можно сыграть один-единственный раз», – вот только после подобного мудрого напутствия и только учтя пробный опыт отца своего, молодому человеку удалось, наконец, совершить многотрудный подвиг полного и окончательного возвращения.

7. Черновик к Возвращению

Я тоже был – пусть в самой малой мере —
тем самым человеком молодым, —
в том смысле, что и я к тому стремился,
чтоб уважал меня родной отец...
Хотел меня он видеть инженером
и лучше просто выдумать не мог
судьбы моей в то время и в том месте:
один и тот же на всю жизнь завод
с зарплатой и надежной и приличной,
и люди тебя будут уважать,
после работы тайная попойка
с приятелями, скажем, в гараже —
жена ведь знает, как чинить непросто
подержанный, надорванный «Москвич»,
и сколько нужно времени, искусства,

чтоб, не имея нужных запчастей,
им самодельную найти замену, —
она поймет, на то, чай, и жена...
Ну и с жильем пожизненно проблемы
я тоже б, разумеется, имел,
как, впрочем, большинство людей в те годы...
И ладно бы втроем всю жизнь прожить
в уютной однокомнатной квартире
с отцом и матерью — куда ни шло...
Но нет, придется ведь и мне жениться
когда-нибудь — и вот мы вчетвером,
а там, глядишь, у нас родятся дети,
и чтоб свою квартиру заиметь,
есть три возможности: большие деньги,
иль блат, иль упомянутый завод, —
десяток лет там нужно проработать,
и верою и правдою служить, —
тогда он и квартирой обеспечит:
он много может, тот завод родной...
А если — ведь бывает же такое —
он чужд вам — и до глубины души,
но жить прилично вы хотите — разве
не должен жить достойно человек?
а плюс к тому по вкусу одеваться,
и мир хотя б немного посмотреть, —
ведь скромные по сути пожеланья:
но невозможно их осуществить
мне было в юности моей и близко!..
И я решил уехать навсегда —
без политических соображений,
желая моей родине добра,
но как бы и себе добра желая, —
разводятся супруги так в семье,
поняв, что брак простительной ошибкой
их был, и в нем никто не виноват,
и нужно им не больше как расстаться,
друг другу напоследок пожелав,
по крайней мере, искренне: удачи,
ибо о счастье трудно говорить
в такой момент, то есть интимном счастье...
Клянусь, что в чувствах именно таких
я родину мою тогда покинул —
в конце семидесятых, в прошлый век,
и до сих пор нисколько не жалею, —
Европа так близка моей душе,
как будто здесь частенько я родился,
и лишь последний раз в чужой стране
я странным образом на свет явился, —
но вовремя вернулся в дом родной...

Отцу родному это я поведал —
в иных, конечно, путаных словах,
уж и не знаю, смог ли мою душу
я донести до моего отца —
когда в рабочей, помнится, столовой
в обеденный недолгий перерыв
я сообщил ему за кружкой пива
о предстоящем выезде моем...
Он с матерью давно уже в разводе
был, я же чудом отыскать сумел
невесту из одной семьи еврейской:
пожалуй, и единственной семьи
в провинциальном нашем городишке,
готовой эмигрировать... куда?
совсем не обязательно в Израиль:
в Америку, а если повезет,
то и в самой Европе зацепиться...
Я с гордостью об этом сообщил
отцу родному после кружки пива:
вот, мол, смотри, отец, чего достиг
твой сын – по праву можешь ты гордиться:
от семени он семя твоего,
и путь твой дальше жизненный продолжит,
откроет земли новые – и в них
создаст очаг семейный, что не снился
вовек тебе, но это не в упрек
будь сказано – традиции великой
мои слова, отец, посвящены...
Давай же мы деянья сопоставим,
что сделал ты, что сделать я смогу
в аналогичный времени отрезок:
квартиру от завода получил
ты – и скажу я: это очень много,
но я квартиру тоже получу,
что будет комфортабельней и больше,
а где же расположится она?
в одном из европейских городов,
а то, пожалуй, в самом его центре,
не то, что та, где мы теперь живем —
в провинциальном пригородном месте...
Ты приобрел подержанный «Москвич»,
я же куплю себе, клянусь, «Мерседес» —
пусть и не сразу новый – и когда
ты в гости как-нибудь ко мне приедешь,
по очереди будем мы водить
немецкую и славную машину
по улицам старинных городов,
где множество готических соборов,
а в них звучит торжественный орган...

И за продуктами стоять не нужно
униженно – заметить – в очередях,
на Западе есть все на каждый вкус,
и фильмы можно посмотреть любые,
а это много значит для меня:
не интересен мне, отец, «Чапаев»,
а вот есть фильм про «Крестного отца» —
рецензию читал я в «Комсомолке», —
мне этот фильм пришелся б по душе,
и много есть еще ему подобных,
которых не смогу я посмотреть —
а почему и по какому праву?..
В таком вот духе моему отцу
причины я отъезда и поведал,
прибавив, что хоть он и разведен
с моею матерью, ОВИР желает
формальное согласие иметь
его на выезд мой, – и если уж не трудно...
Ему я лист бумаги протянул:
его он кротко, с каверзной улыбкой
качая головой, назад вернул, —
в том смысле, что и речи быть не может
ту странную бумагу подписать,
а жест свой пояснил известной песней:
«мол, как в Россию я домой хочу,
поскольку я давно не видел маму»...
Я был, признаться, сильно потрясен —
и песней из «Ошибки резидента»,
и тем, кем стал я вдруг в глазах отца:
пусть не предателем, но отщепенцем,
и, главное, реакцией моей —
во мне не только не проснулась совесть,
но за отца мне сделалось смешно, —
и за его фальшивый детский голос,
и за упрек в подвыпивших глазах...
Мы разошлись в той заводской столовой
совсем не так, как в море корабли:
последним хоть случайно повстречаться
еще дано в каком-нибудь порту,
тогда как даже малое сближенье
меж нами исключалось навсегда:
друг друга мы ни в чем не упрекали,
и объяснения были ни к чему,
и очень быстро из души исчезло
желание друг друга повидать...
И стало ясно, что есть в мире вещи —
как Гамлет замечательно сказал —
которые осмыслить невозможно, —
их нужно просто сделать и принять, —

в конце концов, не мой отец родился
в местах, откуда должен выезжать,
чтоб рано или поздно возвратиться
туда, а я – к нему претензий нет...
Точнее, лишь одна и от искусства:
мне кажется, что тот старик-отец
из вышеприведенной мной Легенды —
не то что был бы лучше моего —
судить об этом не имею права —
но мне-то он как раз гораздо ближе,
и сам я с его сыном очень схож, —
а то, что мы в родстве, причем буквальном,
по всем законам и не можем быть, —
так это еще, как и те законы,
попробуйте, ребята, доказать...

8. Эпилог к Возвращению

Пусть вы ровным счетом не добились ничего в этой жизни и пусть имя ваше после вашей смерти будут знать только те, кто лично вас знал, – но если вам на склоне лет вдруг покажется, что вы родились не в той стране, в какой следовало бы – потому что вы не можете представить себя в ней полноправным и счастливым гражданином – и не в той семье, в которой следовало бы – тоже по причине тонкой дисгармонии, сделавшей невозможным чувство постоянной и взаимной любви между вами и вашими домашними – и если это ваше странное убеждение постепенно станет вашей второй натурой и вы будете себя в нем упрекать – еще бы! ведь получается, что вы в жизни являетесь тем самым знаменитым танцором, которому, как говорится, яйца мешают, но ничего с собой поделать не сможете, – успокойтесь, еще не все потеряно!

Вам всего лишь следует задуматься над законом великого контраста: ведь согласно этому закону, понять столь основополагающие вещи, как соотношение собственной сущности со страной и семьей, в которых она призвана раскрыться, можно лишь пережив их полную противоположность, а это значит, что вам все-таки удалось, как бы вы это ни скрывали, познать и другую страну и другую семью, – и уже из этой, зеркально отраженной перспективы, вы осознали то, что осознали, но если так, значит, вы все же под конец жизни нашли то, что искали – ведь счастливая находка была бы невозможна без неблагоприятного исходного пункта.

То есть, иными словами, для того только вы и родились там, где родились, чтобы переехать туда, где вы сейчас живете более-менее покойно и счастливо, и для того только вы имели первый и несчастливый брак, чтобы создать второй и вполне гармоничный: но тогда следует с тем большей благодарностью отнестись и к городу, где вы увидели свет, и к семье, которая дала вам жизнь, и к первой жене, с которой все было не так, как должно было быть, и даже к вашему ребенку от нее, с которым у вас тоже нет, не было и никогда не будет полного взаимопонимания.

Короче говоря: не для того вы родились на этот свет, чтобы сделаться оплотом чего бы то ни было (в данном случае, страны или семьи), а родились вы на этот свет для того, чтобы стать вечным странником по жизни (и даже без религиозного пристанища, которое это странничество идеальным образом оправдывает), – в самом деле, разве можно сделаться истинным странником, родившись там, где надо? и весь вопрос только в том, обрели вы на склоне лет и при «втором заходе» надежную гавань или это всего лишь очередная временная пристань?

потому как, чтобы стать «вполне своим» в любой гавани, в нее нельзя приплыть откуда-то издалека, но в ней нужно родиться.

И тогда тень предположения Ницше о «вечном возвращении» ложится на вас, и смутная догадка, что вам отныне всегда будет суждено рождаться не там, где нужно, зато еще при жизни с избытком компенсировать последствия не вполне «удачного» рождения, – она, эта догадка, никогда уже не позволит вам ни слепо надеяться на «природную доброту» матушки-жизни, ни тем более однозначно отчаиваться в ней.

9. Равноценный Вариант Возвращения

Если лет двадцать спустя вы решили в места возвратиться,
в коих, как в радостном сне, ваши детство и юность прошли,
вспомнить вам, друг, надлежит ту из классики дивную сцену,
где знаменитый герой в царство мертвых один снизошел.
В обликах явлено двух нам великое таинство смерти,
первый и главный нельзя человеку совсем пережить:
люди чужие вокруг, на его бездыханное тело
глядя, друг другу шепнут, что не жив он, а стало быть – мертв.
Тот же, о ком говорят столь несхожие с истиной речи,
может быть, слушает их, а быть может, уже далеко:
ибо астральных путей нам не счесть, как песчинок в пустыне,
и по какому ему после жизни пойти суждено,
кто это может сказать?.. Зато облик второй и расхожий
смерти нам слишком знаком: преходящесть всех в мире вещей, —
вот настоящая смерть, уникальны мгновения жизни,
всем им присуще лицо, но часы этих лиц сочтены, —
разве что память одна бытие их продлить в состоянии,
только ведь ясно для всех: это есть их вторичная жизнь.
Значит, не раз умереть суждено нам по жизни любезной,
всех же смертей и не счесть, – волновая природа времен
нас милосердно хранит от покосов той квантовой смерти,
но иногда остроту от косы мы почувствуем вдруг...

.....

Так происходит, когда, двадцать лет проведя на чужбине,
снова в родные места возвращаетесь вы, точно гость,
встретите там вы друзей: тех, с кем в детские игры играли,
как изменились они... ведь теперь их почти не узнать!
внешность другая у них, но глаза еще чем-то похожи,
разве лишь только глаза... У них семьи и дети давно,
в поте лица своего они хлеб добывают насущный...
снилось такое ли вам? да и мысли иные у них,
также иные мечты, отношение к жизни иное.
Если из точки одной, но всего лишь под разным углом
в двух направлениях идти пусть не быстро, зато очень долго,
цели обоих путей мало общего будут иметь
с точкой исходной: вот так разошлись вы с былыми друзьями, —
чем-то похожи они на знакомых и близких теней.
Но догадались ли вы, что такими же точно глазами

смотрят друзья и на вас? вы для них тоже странная тень...
кто же спустился в Аид, – зададитесь вы важным вопросом?
вы или, может, они? но поскольку роль гостя на вас,
право имеете вы сопоставить себя с Одиссеем:
пусть лишь на крошечный миг... так и действуйте так же, как он!
Прежде всего надлежит принести вам священную жертву:
это уже не овца, миновали три тысячи лет, —
жертву бескровную мы да восславим в причудливой песне:
пусть это будет теперь о душевных делах разговор.
То, что сближало людей в годы юности памяточкой,
будет сближать их всегда, как душевной природы закон,
если еще и вернуть в разговор о минувшем детали, —
те, что известны лишь вам: мы интимными их назовем, —
то это будет как раз угощение жертвенной кровью,
вдоволь той крови вкусив, оживили вы юность свою,
вот уж блещут и глаза, и улыбка счастливая бродит,
лицам даря красоту, ночи б так говорить напролет...

.....
Но скоро выпита кровь: обсудили вы все, что возможно,
паузы стали встречать в незатейливый ваш разговор,
следом стеснение пришло, и глаза ваши поверху бродят,
точно подсказки ища у предметов, что слушают вас.
Там и прощания час наступил, но еще очень долго
стоя смущенно в дверях, вы расстаться не знаете как, —
Гложет вас тонкая мысль, что последнюю может быть встречу
вы на сутулых плечах прямо в вечность, как гроб, отнесли.

.....
Ровно в тот самый момент, когда угли от прежних событий
памятью вы и они перестали любя раздувать,
кончился древний обряд, – и как выйти из царства Аида
должен был славный герой, так придется покинуть и вам
пусть не родные места, но общенья святое пространство,
ибо уже на глазах превращаются в тени друзья
ваши, и тень вы для них. Но бывает, что вдруг напоследок
веское слово о вас вам прошепчет загробная тень,
не было мысли у вас, что сказать вам такое возможно,
в голову вам не пришло видеть в этом аспекте себя.
Помните только одно: все насквозь видят тени в Аиде,
знают они и о вас то, что знать недоступно живым,
стало быть, вовсе не зря посетили места вы родные
двадцать годочков спустя... Вам открылся великий Гомер,
если ж под самый конец вы еще догадаетесь сами,
что за Гомером стоит ему равновеликий Будда:
в жанре немного другом аналитик и жизни и смерти,
плавный замкнется тогда на себя вами пройденный путь.

.....
Впрочем, закон есть один: ничего не дает без оплаты
этот загадочный мир, – так что если уж вам удалось
опыт великий свершить, да еще без особых усилий,

знайте, что может вас ждать незавидная в жизни судьба:
по проторенным путям до скончания века скитаться,
может быть, вам суждено, – так, задачки все быстро решив,
праздно сидит ученик, долгожданный звонок ожидая,
глядя со скукой в окно и не зная себя чем занять.

VII. Баллада о Сопряжении Сказки и Были

1. Трансформация неудачного брака

Для каждого внутренне созревшего события существует его собственное и как бы для него одного подготовленное время, как оно существует для каждого плода, так что любое «слишком рано» или «слишком поздно» чреваты, как мы знаем по опыту, неизбежными и удручающими последствиями недо- или перезрелости, и нигде, пожалуй, этот простейший из всех универсальных законов бытия не проявляется с такой очевидной ясностью, как в любви: действительно, одним из основополагающих смыслов жизни человеческой является обретение настоящей любви – об этом едва ли не девяносто девять процентов всех фильмов и романов – но каждый из нас хорошо знает, как это непросто, а для иных людей и практически неосуществимо, и сколько попыток нужно предварительно сделать, прежде чем мы, подобно гетевскому Фаусту, сможем от души сказать: «Мгновение, ты прекрасно!», чтобы, умножив это счастливое мгновение на уготованные нам будни и житейские ситуации, получить долгую и гармоническую супружескую жизнь.

Стало быть, никакие «предварительные» опыты по женской линии нельзя признать лишь «неудачными попытками», но в каждом из них таится великий скрытый смысл, хотя и остающийся по воле обстоятельств в тени даже на протяжении всей жизни: смысл этот, в частности, заключается в том, что женщина, с которой вы были в связи короткое время и браку или многолетнему партнерству с которой не «покровительствовали боги», все-таки по-своему любила вас, все-таки надеялась на вас как на будущего супруга и отца или отчима ее не рожденных или уже рожденных детей и все-таки примеривалась к вам с точки зрения «вечной любви», а вот последняя и заключительная ваша женщина, с которой вы создали, наконец, «благословенный на небесах союз», если бы вы ее встретили раньше и при других обстоятельствах, быть может, даже не посмотрела бы на вас – да так оно и было бы на самом деле! – просто потому, что ваш обоюдный плод любви к тому времени еще не созрел.

И очень может быть, что ребенок от вашей ранней и не вполне счастливой связи унаследовал семейную дисгармонию, как он наследует телесные и душевные качества родителей – это даже очень вероятно! – и вы до конца жизни не можете ни сблизиться с ним по-настоящему, ни до конца разойтись, – и тогда вы имеете полное право отнести к вашей судьбоносной ситуации как к своего рода крошечному родовому проклятию со всеми вытекающими отсюда мрачными последствиями, но можете и увидеть в ней тонкую улыбку неизвестного Устроителя всех наших дел, какое бы имя Ему ни дать.

Разве не очевидно, что второе решение – самое наилучшее? поскольку же в данном случае речь идет о редчайшем феномене экзистенциальной игры на высочайшем бытийственном уровне – ибо что может быть первичней для человека, чем кровное родство? но, с другой стороны, что может быть игривей его же собственного (закона) опровержения на собственном примере? – постольку игра эта легко находит для себя совершенно неожиданные, образные и где-то даже сказочные – по причине глубокой внутренней дисгармонии и радикальной попытки ее оправдать – выражения.

Я бы даже высказался еще радикальней: чем проблематичней наше повседневное житие-бытие, тем изощренней наше оправдание его в художественном плане, – так, что если проблем вообще никаких нет – только вот лучше ли это для нас или хуже, никто не знает – то и говорить как будто незачем, а хочется лишь молчать, молчать и молчать... когда же дисгармония с женой и ребенком достигает критической степени, как это и произошло в моем случае, – тогда

творческое ее оправдание склонно и вовсе принимать фантастические (сказочные) жанровые очертания.

2. Ночная сказка

Сыну и первой жене

Не правда ль: малыш наш явился из сказки?
не знает никто туда путь!
украл он у мамы лазурные глазки
и стражу сумел обмануть.

Недаром с тех пор он так жалобно плачет —
все слышит погоню во сне:
то конница гномов за стенами скачет
в глубокой ночной тишине.

Их юный король справедливо разгневан,
рассержена грозная рать,
клянутся смешным и нестройным напевом
назад беглеца отобрать.

Все ближе их топот: быть может, с рассветом
настигли б они малыша —
но, к счастью, во сне, беспокойством согретом,
все мамина чует душа.

А кражу ту мама давно уж простила
и, видя то, тучи мрачней,
к соседним кроваткам король, как Аттила,
игрушечных гонит коней.

VIII. Баллада о Старшей Сестре

1

Вспомнить пора мне о старшей сестре:
это случилось почти на заре.

Ночь задержалась на миг у окна:
в спальне детской разверзлась стена.

Гномов оттуда бесшумный отряд
вышел за рядом причудливый ряд.

И – перед тумбочкой в дальнем углу
расположились они на полу.

Тут же сестру я мою разбудил —
страх от нас долго еще отходил.

Щурясь от лунного в стену луча,
что-то угрюмо под нос бормоча,

в грубых ботфортах и рваных плащах,
с лицами взрослыми в детских прыщах,

трогая шпаги на толстых ремнях,
или мушкетеры держа в пятернях,

гномы враждебно смотрели на нас, —
и было трудно поверить в тот час,

что их явление в ночной тишине
нам не привиделось в утреннем сне.

Сказки любили с сестрой мы всегда,
это как раз и спасло нас тогда:

не как пустых сновидений плоды
встретили гномов мы злобных ряды —

даже последнему призраку льстит,
если при виде его заблестит

глаз человеческий верой живой,
что он в собрата глядит пред собой, —

значит, нам кто-то посланье несет
все об одном – что нас вера спасет.

Только вступили мы в новую роль,
выступил с речью их юный король:

к нашей кровати почти подступив,
руку на шпагу свою опустив,

(шпага была в драгоценных камнях,
спальня тотчас засияла в огнях)

он, нам отвесив изящный поклон,
светел и грозен, как бог Аполлон,

просто заметил в ночной тишине —
прежде всего обращаясь ко мне —

что на родителях наших вина:
есть между ними обида одна, —

эту обиду нельзя ни простить,
ни в обиходный пустяк обратить, —

будет она, как смертельный недуг,
жизни точить их дальнейший досуг, —

и для того, чтоб тот долг погасить,
нужно меня или сестру обратить

в гнома, что чужд как добру, так и злу:
много их было внизу на полу.

А в заключение король дал понять,
что, для того чтоб проклятие снять,

павшее тяжко на нашу семью,
кандидатуру скорее мою

он предлагает, не в силах решать:
нашу судьбу нам самим выбирать!..

Только спустя много лет я узнал,
что не случайно он так нам сказал:

матери нашей отец изменил,
и как бы душу любви погубил, —

полом мужским продолжение отца,
должен тот путь я пройти до конца.

Каждое слово, как град на цветы,
падало в сердце нам, руша мечты:

так мы и взрослыми стали людьми,
быть перестав в те минуты детьми.

«Что ж вы решили? скорее, друзья, —
ждет пополнения гномов семья!», —

шпага блеснула из ножн и ремня:
ею вот-вот он коснется меня.

В этот момент и сказала сестра
(помню, как будто все было вчера):

«Брата оставь, о, великий король!
участь его разделить мне позволь!

вам никогда он не будет родной,
я же могу тебе стать и женой,

для вашей жизни он слишком непрост,
мне же не страшен ваш маленький рост, —

да и к тому же, я часто больна:
жизнь моя детской печалью полна,

силы волшебные скрыты в тебе:
может, моей ты pomoжешь судьбе».

Ей улыбнулся красивый король:
«Пусть будет так – ни болезни, ни боль

ты не узнаешь отныне, мой друг,
рад я принять тебя в пестрый наш круг, —

славный народец, хоть дерзок и груб,
вот только мне он до странности люб,

также и ты к ним любовь сохрани:
детского счастья не знали они,

мне же ты с первого взгляда мила, —
рад, что судьба наконец нас свела».

Это последние были слова,

слабо в окне шевелилась листва,

страшной бывает подчас тишина,
если к большим переменам она.

Руку со шпагой король протянул,
в этот момент я вдруг крепко заснул.

Утром проснулся я в спальне один —
им остаюсь до глубоких седин:

жаль, что сестра моя даже во сне
с тех давних пор не наведалась мне...

.....

Впрочем, еще одна версия есть:
жизни простой она делает честь

(выдумка тем, в основном, хороша,
что развлекается ею душа), —

будто бы то скарлатина была
что в первый месяц сестру увела.

Так и ушла не простившись она,
в память осталась могилка одна.

Ну, а спустя всего несколько лет,
я в той семье появился на свет.

2

Когда я, давая волю воображению, говорю, что у меня была старшая сестра, которая больше всего на свете любила сказки, и не только любила, но и свято верила в них, говорю, что однажды в излюбленном ею томике Гауфа появилась откуда ни возмись иллюстрация к несуществующей в книге сказке, изображавшая пестро разодетых гномов посреди нашей детской комнаты! мало того, там был нарисован и я сам, бросающий книгой в переднего и на редкость противного гнома (приплюснутая громадная голова под загнутой на старинный голландский манер широкополой шляпой, коротенькие толстые ножки обуты в сапожки с ботфортами, из-под холщового плаща торчат шпага и пороховой пистолет, лицо обросло черной щетиной, а маленькие глазки так и стреляют мстительным торжеством), говорю, далее, что поразительным образом в следующую ночь в нашей детской комнате разыгралась воочию сцена, изображенная на иллюстрации: я в гневе за наглое вмешательство в нашу жизнь запустил книгой в гнома-вожака, и тот, потирая ушибленную голову и ковыляя к спасительной дыре в углу комнаты, злобно погрозил мне напоследок кулаком, пообещав отомстить, говорю, что действительно в той памятной сестринской книге очень скоро обнаружилась следующая невиданная картинка, изображавшая на этот раз суд над мной гномов, где председательствовал сам их молодой красивый король в горностаевой мантии с очень внимательным и насмешливым взглядом, в руке у него была тонкая хрустальная трость, и он за обиду своего подданного приговорил меня к пре-

вращению в гнома, говорю, что в следующую ночь все случилось точь-в-точь как на картинке, и юный король готов был уже привести приговор в исполнение, коснувшись меня своей волшебной тростью, как вдруг вмешалась моя сестра, она упала перед ним на колени и стала просить его о том, чтобы гномы забрали в свое царство ее вместо меня, тем более что она по натуре своей всегда предпочитала сказочную действительность повседневной, говорю в заключение, что король уважил ее просьбу, и моя старшая сестра раз и навсегда исчезла из моей жизни, – итак, когда я говорю обо всем этом, я хочу, наверное, выразить при помощи фантастических образов нечто невыразимое, хотя и бесконечно более простое, а именно: моя сестра умерла в возрасте двух месяцев от скарлатины, когда я еще не родился на свет, но потом, в позднем возрасте и после рассказов моей матери о моей старшей и не прожившей жизнь сестре, мне часто стали сниться какие-то непонятные сказочные существа, похожие на гномов и, как это часто бывает во сне, я имел не раз твердую уверенность, что один из этих страшных гномов – моя сестра.

IX. Баллада об Эльфах и Листьях

1

В высях синих и безбрежных
эльфы маю подпевали —
и от их напевов нежных
листья чутко оживали.

В зное солнечных дорожек
эльфы ловко танцевали —
и от топота их ножек
листья жажду забывали.

В облаках купаясь чистых,
эльфы лето провожали —
и от взглядов их лучистых
листья слабо трепетали.

В дымке ж осени бесплодной
эльфы грустно лишь вздыхали —
и от грусти той холодной
листья тихо опадали.

2

В самом деле, только ли от притока невидимой жизненной силы чутко оживают по весне листья? а может, еще и по причине подпевания весенней симфонии вездесущих эльфов в синих и безбрежных высях? только ли вследствие накопленной из земли влаги забывают листья жажду на протяжении многонедельной засухи? а может, еще и оттого, что это изящные эльфы отвлекают их своими ловкими танцами в зное солнечных дорожек? только ли от теплого ветерка слабо и блаженно трепещут листья летом? а может, еще и лучистые взгляды эльфов, купающихся в чистых облаках, подталкивают их к едва заметным колебаниям? и наконец: только ли от прекращения растительных токов поздней осенью начинают тихо опадать листья? а может, еще и холодные вздохи эльфов, загрустивших о предстоящем уходе до следующей весны с подмостков природы, сдувают их с почерневших ветвей?

Очевидно, что в подавляющем большинстве своем люди склоняются к первому и естественному объяснению, но это лишь тогда, когда речь идет о листьях в целом, — если же, в виде исключения, присмотреться очень внимательно к какому-нибудь отдельно взятому листу, как от рассуждений о человечестве когда-нибудь переходят к личности и судьбе конкретного человека, и проследить его (то есть листа) жизнь от клейкого молочного зеленого ростка до последней стадии пожелтевшего, скорчившегося и со следами заморозок вдоль прожилок, то вторая и, в общем-то, сказочная интерпретация его жизненного цикла покажется даже более правдоподобной, чем первая, потому что только она в состоянии передать все те живые и непо-

вторимые оттенки в ежегодно повторяющейся метаморфозе листа, которые человеческое восприятие фиксирует сразу и насквозь как самую первичную данность.

И пусть существование эльфов самих по себе остается под вопросом, зато то обстоятельство, что с их помощью стало возможным почувствовать и описать жизнь растения, как это и приблизительно невозможно при исключительно естественнонаучном взгляде на него, можно считать неоспоримым и доказанным, – а это и есть, пожалуй, самое главное, здесь же и генезис любой мифологии, любой сказки и вообще любого искусства: они и только они одни в состоянии сопрягать жизнь и судьбу отдельного живого существа с незыблемыми законами бытия.

Х. Баллада о Детстве во Время Болезни

1

Все-таки наше самое заветное желание состоит в том, чтобы в жизни было что-то по-настоящему волшебное, чтобы это волшебное было инкрустировано в жизнь на правах естественной закономерности, как закон тяготения или сохранения и превращения энергии, и чтобы мы верили в это волшебное и никогда о нем не забывали, – так это или не так, трудно сказать, во всяком случае, когда я невзначай заглядываюсь на медленно падающий снег, или тихо наблюдаю за хлопочущей по хозяйству женой, или слушаю Баха, или задумываюсь о множестве многозначительных совпадений в моей жизни, или ловлю вопросительный взгляд моего кота, всегда означающий одно и то же, а именно: не пора ли нам снова поласкаться? или просто читаю какую-нибудь великую книгу, например, «Три мушкетера» или «Процесс» или «Мастер и Маргарита» – примеров очень много, – так вот, в такие минуты мне кажется, что я реально встречаюсь с волшебной стороной жизни, в этом не может быть никаких сомнений, потому что сами глаза, мои глаза или глаза любого другого человека, который бы совершил действия, подробно описанные выше, никогда не обманывают, – а они в эти моменты приобретают выражение, о котором без преувеличений можно сказать, что оно немного «не от мира сего».

Наверное, эти глаза увидели ту самую волшебную дверь в стене, о которой так замечательно поведал нам бесподобный Артур Конан Дойль, – но что же мы видим, открыв ее и войдя вовнутрь? мы обнаруживаем всю ту же самую родимую нашу повседневность, – и мысль, что мы нашли то, что искали, и вместе странная грусть, связанная с поиском чего-то другого, и по крайней мере, неповседневного, а также внушенная нам Учителями вера в то, что в один прекрасный момент, войдя в «дверь в стене», мы увидим за нею пейзаж, в котором не будет уже никакой новой двери, и наши вечные и мучительные поиски наконец раз и навсегда завершатся, и тут же тайное сомнение в том, что, случись это долгожданное событие, мы будем, пожалуй, сожалеть об отнятой у нас заветной «двери в стене», и многое отдадим за то, чтобы снова искать ее, – итак, весь этот конгломерат глубоких и противоречивых чувств показывает нам, что «дверь в стене» всегда и без исключения приоткрывается по крайней мере в минуты обращения сознания в детство... все же прочие «двери в стене» сомнительны или индивидуальны.

Итак, классическая «дверь в стене», как мы помним, остается густо заросшей плющом прошлого и воспоминаний о нем, что же тут особенно загадочного? но так и должно быть, – жить в сказке далеко не так интересно, как жить в были, чрезвычайно напоминающей сказку, – это и есть наша жизнь, она начинается с детства, а главный дар детства – это феномен волшебства, откуда же берется волшебство? когда тот или иной феномен жизни, безразлично какой, мы склонны воспринимать только в его начале, не давая себе труда проследить его дальнейшее и неизбежное развитие к середине и концу, не желая увидеть его границы, а с ними и его естественные ограничения и слабости, самое же главное, когда мы заменяем ясное и четкое понимание феномена неким смутным фантазированием о нем, – вот тогда практически любой феномен жизни в наших глазах становится до определенной степени – волшебным; кто не помнит, какое впечатление в пятилетнем возрасте на нас производили обыкновенные комнатные вещи, облитые лунным светом, как волнующе билось сердце от шума проезжавших под окном троллейбусов, как всегда по-иному и в волшебном ключе мы истолковывали все то обыкновенное, что говорили нам взрослые? разумеется, никакой нормальный ребенок не может обойтись без сказок, но все-таки, характернейшая особенность детской психологии –

это потребность и умение в самой окружающей повседневной действительности находить волшебные черточки и жить ими.

Происходит же это, повторяем, тогда, когда явление жизни воспринимается в его начале, а додумывание середины и конца его подменяется искренним и живым фантазированием о нем, причем не обязательно ребенок верит всерьез тому, о чем он фантазирует, он совсем не дурак, ребенок скорее умно и со вкусом играет своими фантазиями, и верит в них только тогда и поскольку, когда и поскольку хочет в них верить, а когда не хочет, воспринимает мир с точно такой же серьезностью, как и взрослые, – тем самым между восприятием действительности ребенком в счастливые часы беспрепятственного розыгрыша его фантазии и классическим восприятием взрослыми мира искусства нет никакой существенной разницы, более того, как из семени ясеня произрастает ясень, так из незамутненного детского взгляда на жизнь с годами естественно и неизбежно вызревает искренний интерес и любовь к искусству, при условии, опять-таки, что ребенок был настоящим ребенком, как это происходит? в детстве мы склонны воспринимать все явления жизни в их чистом начале, всякое начало ведь невинно и чисто, в нем нет тяжести, нет страданий, нет даже забот и огорчений, – начало как таковое не знает ни умудренного продолжения, ни тем более печального конца, чистое начало прозрачно, легко и светло, и во чреве каждого начала, как гласит поговорка, незримо пребывает волшебство.

Что такое волшебство? это в конце концов не что иное как вечная жизнь, но вечная жизнь невозможна, противоречие в определении? почему же? тот самый ребенок, став взрослым, берет в руки книгу и, хотя герой ее в финале умер, читает о нем снова и снова, и заново переживает его литературную судьбу, и это ему странным образом не надоедает, и пока он о нем читает, его персонаж жив, хотя он и знает, что тот как будто уже умер или скоро умрет, – собственно, вот это странное, загадочное блуждание читательского сознания между, казалось бы, несовместимыми мирами, каковы жизнь и смерть героя, или раскручивание заново наизусть известного сюжета, или вообще живой интерес к вымышленной реальности, ничего общего с реальной реальностью не имеющей, – да, пожалуй, в этом и состоит волшебство творческого сопереживания.

Хотя мы проследили судьбу персонажа до конца, возможность ее сопереживания заново, снова и снова, доказывает как раз наличие чистого начала в эстетическом восприятии, а последнее, как сказано выше, всегда и без исключений таит в себе некоторое онтологическое волшебство, – стоит только задуматься: факт кончины героя или его необратимого исчезновения из поля зрения нисколько не умаляет нашего читательского, повторного и многократного ему сопереживания, мы снова и снова возвращаемся к биографии ушедшего в финале из жизни персонажа, и более того, в накладывании этого финала на сюжетное действие, и в особенности на зачин романа, ощущаем даже особенное эстетическое наслаждение.

Здесь и главное отличие искусства от жизни: вот так, как вымышленных персонажей, воспринимать живых людей нам не дано, есть какая-то тонкая черта, разделяющая выдуманных гением художника образов от настоящих людей, – близость между ними невероятная, особенно в случае, когда живые люди давно ушли из жизни и оставили после себя колоссальный след, читай: великие и известные люди, но в любом случае наше восприятие их, несмотря на всю свою предельную subtilность и глубину – в самом деле, что может быть тоньше и глубже размышлений о былой жизни сквозь толщу веков? – все-таки фатально лишено волшебного элемента, есть над чем задуматься, – итак, волшебство вкраплено в повседневную жизнь на правах мгновений, они приходят и уходят, и их, как синицу, нельзя удержать в руке, – вот из волшебных мгновений жизни, поданных так, что начало в них тонко и незаметно превалирует над серединой и концом, создается произведение искусства, однако восприятие его, в котором задействованы обычно все наши духовные и душевные качества, требует постоянного и напряженного труда, что в свою очередь несовместимо с ощущением благоухающего и первозданного волшебства, – вот почему, несмотря на то, что великие произведения искусства заклю-

чают в себе на вес «килограммы и тонны» подлинного волшебства, мы, воспринимающие, все-таки предпочитаем им волшебные мгновения жизни: те самые, которые пусть на короткое время, но делают наши лица и взгляды поистине прекрасными; этих мгновений было больше всего в детстве, а самые острые и запоминающиеся пришлось на детство во время болезни.

2

В лунном свете занавеска
разыгралась на стене —
с явью связь особо веска
в задыхающемся сне.

Смутный страх вокруг витает,
напряженной льнет листва,
и насколько глаз хватает —
сцена полночи мертва.

Но скорей мелькают тени,
чуть раздвинулась стена,
там – волшебные ступени
в тайники больного сна.

3

К полночи дети все спят, —
лишь в живом беспорядке игрушки,
точно устав от игры,
на пол беспечно легли.

Свинка и кот в сапогах,
паровозик и плюшевый мишка, —
в темный глядят потолок,
думая думу свою.

Все они вспомнить хотят,
цепenea в дремотном забытии,
кто был тот странный колдун,
память отнявший у них.

Утро наступит – и вновь
оживут они в детских ручонках, —
только все та же печаль
в лицах останется их.

4

В раннем детстве во время болезни, лежа с высокой температурой в постели, когда за окном ласково светит апрельское солнышко и ручьи, точно пот, с журчаньем выходят из тающих сугробов, – и такая грусть струится снаружи в открытую форточку, потому что нельзя выйти погулять, и забываешься ненадолго в любимых книгах, а потом засыпаешь, снова просыпаешься, принимаешь лекарства и опять читаешь... глядь: незаметно стемнело – и вот уже занавеска в лунном свете разыгралась на стене, что это? уходящая комнатная явь или начинающееся фантастическое сновидение? смутным страхом пронизано каждое душевное ощущение, а листва все напряженной льнет к ветвям, но ведь это прошлогодняя листва! выглядываешь в окно – сцена полночи мертва, как декорации к сыгранному спектаклю, – и вдруг, проснувшись посреди ночи, слыша дыхание родителей рядом, вспоминая сон и видя колебание теней на стене от занавески, точно уже знаешь, что есть на самом деле та заветная дверь в стене: ведь только что ты приоткрыл ее и, пройдя несколько волшебных ступеней, благополучно вернулся... ты войдешь в нее как-нибудь потом, позже... все равно она никуда от тебя не уйдет, – и поверьте, когда-нибудь потом, спустя долгие-долгие годы, скорее всего, поздним вечером, когда дети уже уснут и по всей детской комнате – на полу, на столике и на кровати – прилягут, точно устав от игры, в живом беспорядке игрушки: здесь будет и кот в сапогах, и свинка в юбочке, и паровозик, и плюшевый мишка, и все они в серебряной полосе лунного света, что потянется наискось через всю комнату сквозь неплотно задернутые шторы, под разными углами станут смотреть в потолок и на стены, точно думая думу свою, – да, вот тогда и покажется взрослым, тихо приоткрывшим дверь, чтобы в последний раз перед долгим ночным сном взглянуть по привычке, все ли в порядке с их детьми, – да, им покажется, что эти игрушки, цепenea в волшебном наитии, хотят вспомнить, но не могут, кто же был тот странный волшебник, отнявший у них память, – ведь и завтра, когда наступит утро и игрушки оживут в детских ручонках, та же самая неизгладимая немая печаль останется на игрушечных личиках: вот ее-то, кроме самих игрушек, замечают только взрослые, которые болели в детстве, которые помнят свои мятущиеся сны во время болезни и которые до сих пор втайне убеждены, что только в тех снах видели они волшебную дверь в стене, что открывается в иные миры, в том числе и в мир игрушек.



XI. Баллада о Тонком Холоде

1

Глаза нужны нам для того, чтобы видеть жизнь, а когда жизнь проходит, оставляя после себя свой профиль – чистое бытие – глаза уже не нужны: так интересуясь каким-то историческим персонажем, мы даже просто читая о нем, инстинктивно напрягаем зрение, – нам хотелось бы его получше увидеть, правда, от него остались портреты и скульптуры, но нам этого мало, мы настолько вживаемся в него, что желаем узреть его физически, как узреем ежедневно людей, с которыми связаны тесными житейскими узами: это происходит до тех пор, пока мы не уясним для себя окончательно историческую роль данного лица, когда же это происходит – по сути случайное, странное и, может быть, нежелательное событие – все встает на свои места и интерес к данному персонажу теряет историческую тональность, приобретая взамен художественное звучание, и жизнь тогда уступает место бытию, и процесс познания в главном заканчивается: там, где прежде неустанно работали суммарные энергии воли, ума, интуиции и воображения, теперь осталось одно только субтильное свечение и глубочайшее успокоение как их квинтэссенция, – это как если в момент кончины человека явственно увидеть выходение из него ментального тела, явственно почувствовать, как вся прожитая жизнь его приобрела вдруг недоступное каким бы то ни было органам восприятия измерение и явственно осознать, что все произошло окончательным, необратимым и наилучшим образом.

Итак, жизнь уступает место бытию, а бытие видится уже не глазами, а «очами души», выражаясь словами Гамлета, – и подобно тому, как талантливый критик в нескольких фразах призван объяснить произведение искусства, то есть показать его сюжетно-образное единство, а то и попросту намекнуть на него, и больше ничего! так наилучшие мыслители, касавшиеся истории и исторических деятелей, хотели они того или не хотели – чрезвычайно любопытный момент! – прочерчивали всего лишь основную линию исторического повествования, показывали глубокие и вызревшие из прошлого исторические преобразования, намечали исторические тенденции будущего, а также обрисовывали тех или иных исторических лиц с точки зрения их места в историческом сюжете, – и больше ничего! и можно называть имя главного действующего лица, а можно всего лишь описать его основную образную функцию, напоминающую текучую и на себя замкнутую, наподобие чакр, цепь энергетических узлов, в которых преобладающие черты характера героя намертво сплавлены с некоторыми характерными тенденциями эпохи и общества, в которых жил и действовал данный герой, – в обоих случаях мы со стопроцентной степенью вероятности получим набросок классического художественного образа, а всякий образ, в отличие от живого человека, по самой своей природе излучает некий тонкий холод, который и есть, быть может, самое незаметное, но и самое главное отличие между тем, что мы понимаем под жизнью, и тем, что подразумеваем под бытием.

2

На Пасху в жилы мира входит тонкий холод:
как шок от слов врача о раковой болезни, —
особенно когда душой и телом молод,
и ничего нет просто жизни нам любезней.

Подобно скальпелю, что режет без наркоза,
тот холод ткань живую мира рассекает, —
и память о надрезе узком, как заноза,
нас до скончания наших дней не покидает.

Нам кажется, что есть на этом свете вещи —
мы к ним пасхальную пронзительность относим —
что глас иных миров нам возглашают вещей, —
хоть мы по слабости о том их и не просим.

Так свойствен апогей любой хорошей драме:
но дальше жизнь идет, как караван верблюжий, —
нам мало что дает портрет в парадной раме,
написанный с душой рукою неуклюжей.

Сюжет надуманный там о спасенье мира,
соединившись с линией жестокой казни,
напоминает худшие места Шекспира, —
но здесь же и секрет читательской приязни!..

Нам неприятно слишком гладкое искусство:
ведь жизнь и смерть сопряжены совсем не гладко, —
и хочет самое глубокое в нас чувство,
чтоб неразгаданной осталась их загадка.

И как почти всегда проходят в болях роды —
намек прозрачный на финальные страдания —
так этот снег на первых детищах природы
спешит провозгласить начало увяданья.

3

Когда Эрнест Ренан, описывая детство и юность Иисуса Христа, упоминает, что у Иисуса было много сестер и братьев, но что в семье его не особенно любили и еще меньше уважали, когда, говоря о его образовании, французский исследователь отмечает полную необразованность Иисуса в смысле книжной мудрости, благодаря которой, кстати, только и мог возникнуть его лирически окрашенный религиозный радикализм, когда, далее, анализируя отношения Иисуса с Иоанном Крестителем, автор утверждает, что влияние Иоанна на Иисуса было настолько колоссальное, что, по всей видимости, если бы не трагическая смерть Крестителя, Иисус, быть может, никогда бы не стал тем, кем он стал, когда, продолжая, Ренан вводит нас во внутренний мир своего героя, убедительно показывая его главные составляющие, а именно: во-первых, инстинктивное неприятие семьи и вообще уз родства, во-вторых, заменяющее их (узы) отношение к Богу как родному отцу, в-третьих, готовность видеть вокруг себя только тех людей, которые полностью разделяют его взгляды (учеников), и в-четвертых, врожденная и сильная склонность к поэзии (образцы которой в Евангелиях встречаются на каждом шагу), когда, завершая жизнеописание этого центрального героя западного человечества, Ренан почти мимоходом замечает, что Иисус отказался облегчить собственные страдания на кресте испытанием чаши крепленого вина, предпочитая встретить смерть в полном сознании (общая черта

всех практикующих восточную духовность), что умер он всего лишь через три часа после распятия по причине хрупкого своего телосложения, а Пилат, удивленный столь скоропостижной смертью, потребовал подтверждение (знаменитый прокол копьем), и что не ученики его, а близкие женщины (в первую очередь, Мария Магдалена) сохранили ему верность, присутствуя на месте казни до последнего часа, – итак, принимая к сведению хотя бы эти выборочные выше-названные детали исторического портрета Иисуса (а их в книге Ренана великое множество, и все они безукоризненно точны), невольно думаешь, насколько бы выиграл Иисус в правдивости собственного облика и прямо вытекающей из этой правдивости нашей непосредственной любви к нему, если бы церковь не возвела его в божественный статус и тем самым не исковеркала безнадежно его живой образ: поистине он стал бы для всего человечества тем, кем приблизительно является Пушкин для нас, русских, и наоборот – Иисус потерял по вине церкви в сердечномприятии (которым нельзя совершенно манипулировать извне) ровно столько, сколько потерял бы наш Пушкин, если бы Синод или правительство вздумали канонизировать, скажем, его реальное воскресение, или, еще лучше, его непорочное зачатие, – да, что там ни говори, а мужественная смерть Иисуса и его возведенное в поэзию (по жанру стихотворения в прозе) отношение к Богу как к отцу, – вот две доминанты его образа, которые буквально гвоздями врезаются в наше сознание и благодаря которым сопоставление с нашим отечественным поэтом-героем Пушкиным напрашивается само собой, причем, как это ни странно, оба лица от такого сопоставления больше выигрывают, чем проигрывают: выигрывают они «живую жизнь», а проигрывают «мертвую догму», которая не стоит даже выеденного яйца, так что и наоборот, «тонкий холод» великого (то есть просто удавшегося) художественного образа, подобно ледку в природе, по мере нашего искреннего в нем участия начинает таять и превращаться в живую воду душевного сопереживания, – бытие и жизнь, как мы видим, органически переходят друг в друга.

ХII. Баллада о Небе

1. Этюд о душе

Фантазируя о чертах лица и пропорциях тела, мы склонны изменять их мысленно в свою пользу: увеличивать рост, сбавлять объем живота, утончать форму носа, поднимать лоб и опускать подбородок, вообще выправлять явно выраженные аномалии, но при этом нам не приходит в голову, что с каждым таким изменением может непредсказуемым образом измениться наша личность: нам все кажется, что это произойдет только тогда, когда мы посягнем на автономию глаз, – и потому в наших фантазиях об иных и предпочтительных физических пропорциях мы инстинктивно никогда не касаемся наших глаз, – и наверное, мы правы.

В самом деле, из всех частей тела и черт лица глаза и источаемый ими взгляд обладают максимальной степенью неопределенности и незаконченности, иными словами, какое бы выражение в них ни доминировало, не только невозможно проследить его до конца и запечатлеть в словах, но найдется всегда еще множество побочных оттенков этого взгляда, каждый из которых при изменении обстоятельств и настроения души способен сделаться на время доминантным, – и вся оптическая магия человеческого взгляда на протяжении жизни поистине столь же многообразна, как любой ландшафт, меняющийся поминутно в зависимости от солнечной интенсивности, облачной среды, времени года и суток, – но незаконченность, как важнейшее бытийственное измерение, отличает не только взгляд, но и феномен искусства, да и само мироздание в целом: правильно задуманные, но незавершенные роман, драма или эпопея весят на весах искусства гораздо больше, чем с блеском отделанные мелкие вещицы.

«...и единый план (Дантова) «Ада», – как глубокомысленно подметил Пушкин, – есть уже плод великого гения», и если бы от «Божественной Комедии», «Фауста», «Илиады», «Войны и мира», «Гамлета», «Братьев Карамазовых», «Обломова», «Процесса», «Мастера и Маргариты» и прочих им подобных гигантов остались не просто уцелевшие куски, но даже всего лишь внятные наброски, мы бы и тогда относились к ним с тем особенным духовным пиететом, который мы никак не можем натянуть по отношению к мелким вещам, сколь бы безукоризненны в чисто художественном плане они ни были.

Точно так же, когда мы смотрим в ночное небо и видим мерцающие звезды на расстоянии световых лет, быть может, давно угасшие, а свет от них пока еще в пути, когда при этом мы невольно задумываемся о Творце мира, заранее догадываясь, что найти его будет не так-то просто, – разве тогда нам не припоминается вышеприведенное высказывание Пушкина о Данте: замысел мироздания уже есть плод чьего-то гения? и разве этот замысел в нашем восприятии не остается всегда именно незаконченным: во-первых, потому, что само мироздание в непрестанном саморазвитии, а во-вторых, по причине нашей принципиальной невозможности постичь мироздание во всей его целостности?

Правда, когда от храма Аполлона остается пара колонн – это, конечно, маловато, но когда в том же храме недостает лишь пары колонн, его магия от этого только выигрывает, по крайней мере, для нас, дальних потомков эллинов, а пожалуй, и всего лишь их благодарных зрителей, – также и здесь: искусство является самой точной моделью мироздания, а кроме того, что еще важнее, также и моделью нашего первичного и глубинного его восприятия, и в этом смысле допустимо предположить, что если и есть в человеческом теле орган, который более других отражает или, лучше сказать, выражает образ души, в существовании которой нам вместо веры так бы хотелось иметь полную уверенность, то это конечно глаза и их взгляд, – и вот они-то снова и снова намекают на объективное существование души, но никогда не предоставляют

нам полной в том уверенности: душа в нашем интуитивном постижении всегда и при любых обстоятельствах остается незаконченной и неопределенной.

Обращает на себя внимание: тело ощутимо подвержено изменениям времени, в том числе и обрамление глаз – веки, ресницы, окружные морщины и впадины, однако сам взгляд старению почти недоступен, основное выражение его, правда, существенно меняется с возрастом, но это именно не старение, а возрастное изменение, так что у старцев с развитым сознанием взгляд и по шкале витальности не уступит взглядам молодых людей: мудрость здесь вполне уравнивает юношескую энергию, – вот почему тело рано или поздно обращается в прах и смешивается с землей, а глаза просто раз и навсегда закрываются и их взгляд уходит в действительность, которую мы называем гипотетической, то есть такую, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть: но не в такую ли гипотетическую действительность уходит и наша душа? а точнее, не в ней ли она изначально пребывает?

Ведь наша жизнь обращается рано или поздно в прошедшее время, уподобляясь вороху сухих листьев осенью, тогда как наше ментальное тело, оставляя минувшую жизнь, устремляется в астрал, а оттуда в следующее будущее, которое тоже обратится когда-нибудь в прошлое, и стало быть, ворох сухих листьев, – у нас всегда, таким образом, есть прошлое, которое недвусмысленно указывает на тщетность любого существования, но у нас всегда же есть и будущее, которое неизбежно толкает нас к новой жизни: нельзя тем самым понять ни себя, ни жизнь, отталкиваясь только от прошлого, но еще меньше можно понять себя и жизнь, настраиваясь на одно только будущее, они повторяются, сменяя друг друга, и так было, есть и будет вечно.

Как можно преодолеть ощущение торжественного покоя прошлого? но еще больше бессмертную тоску будущего и непреодолимую к нему тяготу? для этого надобна недюжинная и постоянная внутренняя работа, нужно неустанно держать перед умственным взором неминуемый финал жизни – болезни, старость и смерть, нужно постоянно видеть и переживать жизнь как ворох сухих листьев, нужно загадывать и дальше: как последующая и последующая и сотая и тысячная жизнь кончатся болезнью, старостью и смертью, – и миллионная по счету жизнь превратится в ворох сухих листьев, нужно задействовать все силы фантазии, нужно представлять, как мы обречем статус какого-нибудь светоносного существа, которое способно будет преодолеть пространство и время, – но и тогда астральные болезни и астральная старость не прекратят подтачивать наш светоносный образ.

Иными словами, чтобы обрести полную независимость от времени, надобно восстановить в душе неизменяемое сознание, как будто все явления, возможные во времени – читай земной жизни – пережиты до конца, то есть до той метафизически предельной душевной сытости, когда желание заново испытать их в какой-либо вариации полностью и необратимо отсутствует, иначе говоря, вырвано из души с корнем, – и вся беда здесь только в том, что, по всей видимости, такое психологическое состояние, поистине самое религиозное из всех возможных, реально недостижимо, к нему можно только приближаться, им можно восхищаться, о нем можно мечтать, но воплотить его в собственной жизни вряд ли возможно, – впрочем, это как будто удалось Будде и многим его последователям, но и тут доказательств нет никаких и, точно так же, как в христианстве, вера подводит подо всем жирную финальную черту.

А до тех пор в любом разочаровании скрыты семена надежды и радости, разочаровавшая женщина толкает нас в объятия другой женщины, за болезнью следует выздоровление, а если даже болезнь заканчивается смертью, то разве не от смерти ожидается радикальное обновление? и пусть прожитая жизнь обратилась в ворох сухих листьев, под спудом уже зачинаются клейкие ростки, – итак, что же первичней: молодая зелень, обращающаяся по осени в сухой мертвый ворох? или этот ворох, обуславливающий по весне новую зелень? на все можно смотреть как на обреченное когда-то закончиться черепом и костями, но на все можно смотреть и как на обреченное когда-то снова начаться: нежной клейкой зеленью и улыбкой младенца.

Обе точки зрения одинаково правы, и если бы Будда указал нам только на кучу опавших листьев как итог и символ жизни, он не далеко ушел бы от умнейших Лермонтова и Шопенгауэра, но Будда предлагает нам нечто большее: он предлагает нам – оставаясь в пределах образов природы – перестать быть деревом, вечно сбрасывающим осенью и надевающим весной листву, и стать небом, раскрывающим свою безбрежную, бездонную и особенно поразительную по красоте синеву именно весной и осенью, на фоне еще не одетых или уже раздетых деревьев.

Небо – универсальный символ буддийской ниббаны, и у него тоже есть своя психология, как есть она и у дерева, но элементарная интуиция подсказывает нам, что, хотя дерево по-своему абсолютно совершенно, небо все-таки выше и значительней его, а главное, как-то больше соответствует природе и назначению человека: без дерева прожить можно, но трудно, без неба прожить никак нельзя, – метафизике и психологии неба соответствует и основная музыкальная тональность нашей жизни, ибо поскольку первоосновы бытия не существует, так как любая первооснова пребывает в комплементарном созвучии со своей противоположностью, то и для человеческого восприятия ясная лазурь и ночное звездное небо выступают не только символами бытийственной первоосновы, но и ее адекватными выражениями, так что любой феномен, увиденный, помысленный или пережитый на фоне самого светлого или самого темного неба, начинает поистине звучать, и более того, приобретает сразу наиболее выразительное звучание.

Плющ на фоне лазури, античная колонна, обвитая плющом, на фоне лазури, католический ангел или надгробный памятник на фоне лазури, – все это смысловые музыкальные аккорды по возрастающей, апогейного же изгиба эта, быть может, самая главная тональность нашей жизни достигает, когда вся прожитая жизнь представляется на фоне лазури, и тогда о ней можно сказать следующими стихами.

2. Путь домой

Слышишь, мой друг, как пред дальней дорогой
сердце волнуется близкой тревогой?

ясна лазурь и опор лишена,
станет нам пристанью только она:

в ней все, что было и вечно пребудет,
может быть, будет, а может, не будет,

в ней суждено нам и вечно пребыть:
может быть, быть, а быть может, не быть.

3. Отрывок из автобиографии

Я могу бесконечно долго смотреть в голубое теплое небо с плывущими по нему легкими облаками, как, впрочем, и в ночное, пугающее и торжественное, днем или ночью, утром или вечером, зимой или летом, не говоря уже о весне и осени, когда небо наиболее выразительно, я могу смотреть в него, забыв о времени и с бездумной заинтересованностью, – между тем, как я обратил внимание, для большинства людей это зрелище представляется немного скучным:

многие предпочитают пребывать в закрытом помещении без особой надобности, вместо того, чтобы любоваться открытым небом.

Однако что это значит: без особой надобности? ну, то есть помимо работы или гуляя по магазинам без намерения что-то купить, – эту свою особенность предпочитать лицезрение неба многим развлечениям в четырех стенах я открыл случайно, когда, вместо того, чтобы пойти с женой на один русскоязычный спектакль, я уступил билет ее подруге, а сам провел два часа на улице, после чего мы на машине вернулись домой, ее рассказ о спектакле очень напомнил мне изложение Львом Толстым содержание оперы (или балета, не помню), которую слушала однажды Наташа Ростова, в то время как Анатолий Курагин пожирал ее глазами в бинокль.

Насколько же жалок театр – причем почти любой – по сравнению с тем зрелищем, которое бесплатно, на каждом клочке земли и в любую минуту предоставляет человеку жизнь под открытым небом! нужно только однажды обратить внимание, насколько любая сценка с прохожими и любой уличный пейзаж живей, интересней, но также и экзистенциально глубже всякого спектакля, – даже на шекспировскую тему! о кино не говорю, кино – другое дело: там иллюзия полного присутствия неба сознательно сохранена, потому и любая деталь в кино принципиально мало чем отличается от зрелища под открытым небом, правда, там есть еще и занимательность, мы благодарно принимаем ее к сведению, но с возрастом она все менее для нас значима, с возрастом только небо не теряет своего великого значения, – так тому и быть.

4. Полуденная фантазия

Где в сини бледной и пустой
вдали от суетно-земного
все дышит чудной простотой
и ощущением иного,

откуда реют облака
в изнемогающем покое,
как бы не слишком, а слегка
благословляя все мирское,

и все стекается куда
в щемящей ноте ожидания —
там... сердцу близка и чужда
мысль, что за смертью нет страданья.

5. Два неба

Действительно, все-таки представление о звездной полночи как храме после службы, когда и слабо перемигивающиеся звезды, и бледная мертвенная луна, и слабый ветерок, и пронзительное вокруг безмолвие, – все это напоминает о недавно свершившейся мистерии, но ее участники куда-то внезапно и бесследно исчезли, – так вот, такое представление гораздо поэтичней, чем аналогичное представление о той же полночи как воочию – то есть в очах души по Гамлету – свершающейся мистерии: с ангельскими иерархиями на хорах, с органной гармонией сфер, со сводчатыми потолками разворачивающихся под разными углами и в разных масштабах экзистенциальных измерений, с демонскими кариатидами ежесекундно происходящего в космосе зла, с алтарем матушки-Земли, на котором приносится снова и снова в жертву

плоть живых существ, и с бесчисленными жителями разнообразных астральных миров в качестве невидимых зрителей.

И точно так же образ ясной голубой лазури, которая станет нам последней пристанью, потому что уже теперь, глядя в нее, мы до глубины души взволнованы отсутствием в ней каких-либо опор, и сравнение со смертью, в которой тоже упраздняются любые жизненные опоры, приходит само собой, – да, этот звенящий образ лазури, навевающий нам странное, непостижимое, мистическое состояние бытия в аспекте собственной возможности, то есть пребывание в лазури-смерти как антиномическое «может быть, я существую, а может быть и не существую», – он, этот образ безоблачной лазури, кажется нам тоже куда поэтичнее, чем любые другие и, главное, вполне конкретные представления о посмертном существовании человеческой души.

И вот, если бы как дважды два четыре было доказано, что, собственно, ничего в представлении о звездном небе как опустошенном после службы храме или в образе лишенной опор лазури как последней пристани человека, – итак, ничего в этих двух символа нет истинного, а есть одна лишь чистая поэзия, – можно ли было бы в таком случае, перефразируя Достоевского, сказать: лучше я останусь с поэзией, чем с истиной? наверное, можно, потому что решительно невозможно доказать, что подобная поэзия не имеет к истине никакого отношения.

6. Наше все

Знаю, что много миров в нашем мире незримо сокрыто,
путь есть один в них войти – лишь телесную смерть пережив,
но, пока жизнью живем мы привычной, в иных измерениях
мыслью пытливой бродить нам как будто не очень к лицу:
к каждому время придет мир иной поприветствовать лично,
в зеркале чувств же земных сверхземную теряет он суть.

.....

Музыка лучше всего сокровенную душу раскроет
разуму чуждых вещей, а из тех, что фиксирует глаз,
небо важнее всего: как возвышенна звездная полночь!
легкий сквозит ветерок, светит мертвенным светом луна,
звезды мигают, и все... нет, забыли пространство и время:
в страшной своей чистоте они чем-то походят на храм,
но – после службы ночной, когда всеми он странно покинут,
двери ж открыты его, и колеблется свет от свечей, —
впечатленье тогда от него почему-то гораздо сильнее,
чем когда служба идет, и он полон вещей и людей.

.....

Но и в полуденный час, когда в теплой и чистой лазури
тихо плывут облака, и отсутствием всяких опор
небо опять нас манит, одновременно душу тревожа, —
точно давая понять, что возможности спят в бытии,
знать о которых нельзя, но в которые можно лишь верить,
больше: не верить нельзя, – да, здесь также великая роль
неба над нами видна, – без него мы бы куклами были,
что с реквизитом вещей – то есть всем, что и есть вокруг нас —
разный, но жалкий спектакль для кого-то зачем-то играют.

.....

С небом нельзя вообще нам решить, есть ли в мире игра.

7. Небо как олицетворение всего высшего

У каждого своя жизнь – единственная и неповторимая, в этом ее неоценимая ценность, и жить чужой жизнью – что и делают, а точнее, пытаются делать очень многие люди, называющие себя учениками или приверженцами того или иного духовного Учителя (сюда же, разумеется, и основатели мировых религий) – занятие, по меньшей мере, сомнительное, – оно мало чем отличается от классического подражания в искусстве, и как никто в творчестве не ушел далеко, подражая какому-то мастеру, так точно и в трудном деле внутреннего развития бессмысленно буквально перенимать какие бы то ни было духовные практики (в том числе, и молитвы, и любые культовые отправления), если они не соответствуют характеру и настрою души.

Однако восходить к чему-то Высшему, как бы его ни понимать, очень даже желательно для любого человека, и если он это искренне делает, Бог, который и есть это самое Высшее, обязательно так или иначе о нем позаботится, я лично в этом нисколько не сомневаюсь, – и как в области духовной жизни нет ни единого законченного феномена, который можно было бы отождествить с Высшим, и в то же время каждый феномен так или иначе с ним тонко связан и на него тайно или явно намекает, так в окружающем мире – это подтвердит любой из нас – абсолютно все вещи окружены и пронизаны некоей чистой и благородной субстанцией, – с головой погружаясь в метафизику, эту субстанцию можно назвать вслед за тибетскими буддистами Великим Непорочным Пространством или абсолютной первоосновой бытия.

Но можно, не особенно вдаваясь в метафизические дебри, оставить все как есть: то есть это самое Пространство отождествить просто с Небом, которое мы видим ежедневно, с которым живем и без которого нам нет жизни, – тем более, что то Высшее, которое нам на протяжении жизни, в больших трудах и в малых дозах удастся приобрести, – оно гораздо больше созвучно с нашим родным и милым Небом, нежели стоящим за ним великим и таинственным Пространством.

8. («Над вечным покоем» И. Левитана)

Над вечным покоем безмолвного свода
уходит земля в бесконечную даль,
плывут с облаками усталые воды
и дышит простором глухая печаль.

На срыве утеса худая церквушка
прикрыла от ветра косые кресты:
одна ты над миром, родная старушка,
не зябко ль тебе – небеса-то пусты?

Лишь пара деревьев, трава да могилы,
да тусклая синь над холодной рекой,
лишь треск угольков, изнемогшие силы,
да свода вечернего вечный покой.

9. Двойное небо

Что и говорить, лицезрение неба, причем в любое время суток и при любой погоде, вызывает в нас непроизвольно чувство непостижимого величия, и хотя наша повседневная жизнь практически ничего общего с метафизикой неба не имеет, все-таки небо остается ее фоном: без неба любое решительно жизнеотправление напоминало бы жалкий театральный акт – чего стоило бы одно закрытое полутемное помещение – и не было бы вокруг нас ни единого предмета, которое – без небесной бесконечной перспективы – не было бы аналогично театральному реквизиту, и никто из наших близких или дальних не казался бы нам человеком в собственном смысле этого слова, то есть свободным существом с великой, потому что неопределенной, и неопределенной, потому что великой, судьбой, – которую гарантирует опять-таки одно только небо – но все люди как один представлялись бы механическими куклами-актерами, сплюснутыми и задавленными своими так легко предсказуемыми посредственными ролями.

Короче говоря, небо, будучи основой и условием нашей жизни и нашего бытия – что не совсем одно и то же – является плюс к тому еще и последним критерием истины: любой нравственный, а тем более метафизический вопрос находит свой по крайней мере интуитивный ответ в зависимости от того, созвучен ли он небу и в какой степени созвучен, – чем больше созвучия, тем больше истины, совсем нет созвучия, полностью отсутствует и истина, и если буддизм так великолепно гармонирует с просветленной лазурью, то христианство по тональности родственно ночному небу, как видите, все сходится, и конечно же самые наши противоречивые чувства, мысли и интуиции «подсказкой» неба не только не упраздняются, но усиливаются до возможного предела, демонстрируя тем самым, можно сказать, каноническую правоту антиномического подхода к загадке жизни.

ХІІІ. Баллада о Турецкой Забегаловке

1

В турецкой забегаловке однажды,
в одной руке держа большой кебаб,
в другой – салфетку (губы вытирая),
я в зеркало почти уперся лбом:
в нем улица бесшумно отражалась,
а звуки проникали через дверь,
эффект кино немного создавая,
когда топорно сделан в нем дубляж,
плюс эти заунывные мотивы,
что из прибора пыльного лились
в скрещении стены и потолка.
плюс солидарные в жеванье лица,
несущие тепло и радость бытия,
плюс тело заполняющая сытость,
ради которой все здесь собрались, —
да мало ли еще чего там было...

.....

Одна и та же в жизни полнота,
возьмем ли мы трагедии Шекспира,
или закусывающих людей:
просто одни нас чем-то интригуют,
другие же нам кажутся скучны,
вопрос стоит об умном развлеченье
и ровным счетом ни о чем ином:
субстанция одна у океана,
явления ж разные – то штиль, то шторм...

.....

Меня привлек к себе субъект напротив:
он так нескромно на меня смотрел
из глубины зеркального пространства!
и многое я мог бы рассказать
о нем – такого, что иные уши
завяли бы мгновенно, как цветы,
политые невыносимым ядом,
когда бы не приличия закон, —
но было в этом деле самым странным
что не заметил среди нас никто,
насколько тип тот в зеркале противен, —
хотя по лицевым его чертам —
буквально как по самой точной карте —
пожалуй, каждый мог бы прочитать

его натуры скрытые пороки,
однако так никто не прочитал...
.....
Закончив есть, все просто уходили,
так на него ни разу не взглянув,
и был я им за это благодарен,
а мой противный в зеркале субъект,
за сценой этой молча наблюдая,
запанибратски вдруг мне подмигнул:
и стало мне впервые в жизни стыдно,
за то, что строго я его судил,
тогда как прочие не замечали
его мне слишком видимых грехов...
.....
И с искренним взглянул я состраданием
в него, и слезы на его лице
сказали, как в любви моей нуждался
все это время он, а я узнал,
куда отныне нужно мне идти.

2

Посреди шумной европейской привокзальной улицы, в турецкой забегаловке, за стойкой, упершись взглядом в зеркало с виньетками и поедая кебаб, иной раз вдруг удивленно замираешь: ведь так много можно было бы рассказать о субъекте напротив! но удерживает элементарное чувство порядочности, – в сущности, это производит несколько комическое впечатление, хотя и является, быть может, тем последним, отчаянным и так и не вырвавшимся из глотки криком, который свидетельствует о полнейшей безысходности нашей ситуации.

С другой стороны, когда мы особенно внимательно рассматриваем себя в зеркале, нам подчас настолько неприятны иные черточки в себе и в то же время, в силу последнего интуитивного знания о себе, эти черточки кажутся нам настолько естественными и неотделимыми от себя, что мы ими почти против воли вынуждены любоваться, – отсюда проистекает то неизбежное приятное оупение, каким обычно сопровождается задержка на собственном отражении в зеркале, и оно же, увы! является основной музыкальной тональностью любой автобиографии.

Вот почему, зная о существовании законов физиогномики, четко определяющих зависимость характера от черт лица, зная, что опытный психолог, мельком взглянув на ваше лицо, как по карте определит вашу сущность, сколько бы вы ни старались мимикой скрыть ее, зная, далее, что и вам самим изменить ваш характер так же мало возможно, как поменять черты лица, – итак, зная все это, вы будете пожизненно обречены чувствовать некоторую благодарность от всякого случайного взгляда любого случайного человека, который внимательно посмотрит на вас и – не заметит почему-то того очевидного изъяна в вашем характере, который, как прыщ на носу, написан на физиогномической карте вашего лица: и более того, чем меньше окружающие склонны или способны проверять незыблемые законы физиогномики на вашем печальном примере, тем большей вы к ним проникаетесь симпатией, хотите вы того или не хотите, и тем скорее они становятся вашими близкими, друзьями и знакомыми, – этот странный закон напоминает темное солнце в сердцевине нашего мироздания, лучи которого столь же милосердны, сколь небожественны в своей сущности.

XIV. Баллада о Чаевых

1

Есть путь простой приблизиться к познанию
того, в чем подвиг состоит святых:
по доброте души, а не по званию
давать при случае побольше чаевых.

Нет большей жертвы в этом мире грешном
для женщин, но особенно мужчин,
чем жестом ритуальным и неспешным
кому-то и без видимых причин

отдать часть денег, точно правя балом —
предел нередко нашей доброты:
вот почему в поступке этом малом
так много непонятной красоты.

2

Вам привезли новую мебель, за доставку заранее оплачено фирме, двое иностранцев-рабочих, на своем родном языке обмениваясь деловыми репликами, во мгновение ока расставили ее как нужно в вашей гостиной, потом они дали вам подписать необходимый документ, и вот они уже в дверях, — сейчас они уйдут и вы их, судя по всему, никогда больше в жизни не увидите, но прежде чем это произойдет, совершится — или не совершится — крошечный акт одной очень важной житейской мистерии: ведь у вас в кошельке лежит бумажная десятка или двадцатка — так, на всякий случай, вы просто знаете, что в подобных делах принято давать чаевые, но без этого можно и обойтись: с одной стороны, доставщики сделали свое дело без претензий, но ведь и за доставку, как сказано в начале, уже заплачено, правда, самой фирме, а не рабочим; что последние от этого имеют, вы не знаете, и сколько в среднем получают чаевых, вам тоже не дано знать.

И тогда перед вами встает гретхеновский вопрос: давать или не давать? вопрос, если разобраться, космического масштаба — потому что, во-первых, деньги не просто деньги, а эквивалент суммарных материальных — а подчас и духовных — возможностей на этой земле, то есть одна из самых важных ценностей, во-вторых, вы встретились с этими людьми в первый и в последний раз, и в-третьих, ваши укоры совести, если вы решили сэкономить, продлятся не долее пары минут, — пока двери вашей квартиры не закроются и голоса доставщиков, упаковывающих картон от мебели, не затихнут в лифте, и все будет кончено, именно так: для вас все будет кончено, потому что нет для среднестатистического человека в нашем прозаическом мире другой возможности выказать хотя бы минимум щедрости, как только посредством чаевых: отдавая малость чего-то очень для вас важного какому-то совершенно вам незнакомому человеку, вы как бы совершаете мистическое жертвоприношение, а оно лежит в сердцевине самой жизни — ведь как часто вы сами насущно нуждаетесь в чем-то таком, что кроме как от

жизни и кроме как путем чуда вы получить не можете, например, здоровье или удачу, не говоря уже о счастливой внешности, счастливом таланте, счастливой судьбе; кто их распределяет? на каком основании? и по каким заслугам? тайна, бог, карма...

Ничего другого нам по этому поводу не приходит в голову, да и не может прийти – здесь предел всем земным фантазиям и гаданиям, – но если бы вдруг выяснилось, что все те, кому в жизни мы завидуем доброй завистью, когда-нибудь прежде, при каких-нибудь фантастических обстоятельствах и кому-нибудь неважно кому регулярно и без веского повода давали хорошие чаевые, – итак, при таком раскладе колоды, как это ни парадоксально, наше нравственное чувство мировой справедливости было бы полностью удовлетворено – и это говорит о многом, если не обо всем.

XV. Баллада о Серой Мыши

1

Если вы, будучи эмигрантом и прожив две трети жизни, скажем, в Мюнхене, прогуливаясь однажды поздно вечером по городу в компании какого-нибудь вашего гостя из России, вспомнили вдруг вашу любимую отпускную страну – а ей может быть, конечно, только древняя Эллада или точнее, то, что от нее осталось – вспомнили дискретно-покровительственные улыбки гостей в отельной столовой при виде упрямо просовывающихся в плотно сжатые и тем не менее такие доступные ладони тамошних кельнеров, вспомнили жалобный вой побитой хозяином придорожной таверны собаки, вой, в котором не было ожидаемых упреков, а были только пронзительные сетования на причиненную ей несправедливость, вспомнили, как однажды выдался пасмурный день, около часа накрапывал мелкий теплый дождь, пляжи опустели, туристы разбрелись по городу и их скучающие праздные лица на каждом шагу, точно об стенку, упирались в приветливую непроницаемость лиц местных жителей, вспомнили, как ежедневно совершала свой путь вдоль моря с увесистыми корзинами пожилая статная гречанка, и в одной ее корзине были фрукты, а в другой сладкие лепешки, и женщина невозмутимо выкрикивала свой товар, не расхваливая его и не радуясь, когда находились покупатели, лишь время от времени ставя ношу на песок, посреди бледных намасленных туристов, занявших, кажется, каждый квадратный сантиметр узкой прибрежной полосы, отирая платком вспотевшее лицо, поднимая бремя свое и идя дальше.

Итак, если вы вспомнили все это и готовитесь дальше вспоминать в том же духе, да кто-то неподалеку как назло зажег сигарету, дожидаясь, пока его собака, вдоволь нанюхавшись, возвратится из-за кустов, в то время как из побочной темноты грянет на вас колокольный перезвон, возвещающий полночь, и будет в этом перезвоне насильственная, непрошенная весть из потустороннего мира, но будет и акустическая мера, весть эту на лету ослабляющая и приспособливающая к нашему мирскому уровню, – да, если в качестве маленького чуда состоятся все эти непростые и несоединимые на первый взгляд между собой условия, то – самое время сходу завернуть за угол, миновать антикварную лавку с древним оружием и грозными масками в полутемных витринах, пройти мимо игрушечной лавки, еще раз свернуть налево и – прямо упереться в греческую таверну, которая будет обязательно иметь скромный вид, а название непременно громкое, под стать гомеровскому эпосу, и конечно же, с малым числом призрачно колеблющихся в желтых окнах посетителей в этот предполуночный час.

Ну а если, далее, пожилой полный кельнер в жилетке и с широко расстегнутым воротом будет стоять снаружи перед дверью, заложив руки за спину и внимательно наблюдая, как под фонарем мышь поедает хлебную корку, а его молодой и, по-видимому, начинающий помощник, тоже не зная, чем заняться, но не осмеливаясь застыть в монументальной бездеятельности, подобно старшему коллеге, будет протирать для вида окно, если, продолжая, увидев вас, пожилой кельнер с трудом оторвется от зрелища ужинавшей мыши, молча и с достоинством проведет вас вовнутрь таверны, усадит за самый уютный, по его словам, столик в углу: как раз рядом с миниатюрным амурчиком, зажавшим в пухлых ручонках корзину с цветами, если, далее, ваш спутник, поблагодарив вас за приглашение, сейчас же углубится в изучение меню, а вы, оглядевшись, убедитесь, что это типичная греческая таверна за границей, отдающая кичем, но милая взору всякого, кто успел побывать в Греции и полюбить эту коротающую в архаической дреме какое уже по счету столетие островную колонию, и потому здесь обязательно будут, во-первых, неизменный фрегат над баром изумительной ручной работы, во-вторых, сеть

под закопченным потолком, где искусно запутались разнообразные и высушенные дары моря, как-то: гигантский краб с чудовищно непропорциональными клешнями, рыба-меч, косоглазая камбала, чучело спрута, громадные раковины и прочая морская прелесть, в-третьих, любительские акварели на стенах, в-четвертых, дискретно белеющие среди пышной парниковой зелени гранитные копии великих работ древности, а в-пятых, и самое главное, с потолка, из замаскированного в щупальцах медузы старенького прибора будет литься заунывная бессмертная музыка, от которой повеет нестерпимой архаической ностальгией, разрыхляющей душу и не открывающей ей выхода в действие, опять-таки, в отличие от итальянских или испанских мелодий, – итак, если все эти детали будут иметь место, значит вы сделали правильный выбор и можете считать, что вечер ваш вполне удался...

2

В Мюнхене тихо живя там осевшим давно эмигрантом,
рады по-прежнему вы, если старый приятель иль друг
с кровных до боли краев, что вам близки, но вместе и чужды,
ибо вы там родились, но и бросили их навсегда,
и поступили бы так, если б заново все повторилось:
только такой человек настоящий и есть эмигрант...
как-нибудь вас посетит, и отпраздновать редкую встречу
вы поведете его в Старый Город, – но где же осесть?
где по карману еда? ведь кусок, баснословно что дорог,
вкусен не может и быть: запах денег в нем все отобьет,
также не в каждом вине, что чужие вам люди предложат,
дышит живая душа, а нельзя пить вино без души, —
тело оно опьянив, вашу сущность совсем не затронет:
в пьяной и тесной тоске будет маяться долго она,
даже в живительном сне не найдя долгожданной отрады...
кроме того, не забыть окружающий вас интерьер:
все, что безмолвно стоит на часах вашей тихой беседы,
и по идее, должно органически с нею срастись:
так же, как тело с душой у немногих людей – и счастливых, —
все эти стулья, столы, декорации стен, потолок,
вид за столом из окна, выражение лиц у прислуги,
музыка, гости, уют – все детали нельзя и назвать —
призваны сопровождать судьбоносное это событие:
встречу двух русских людей посреди им чужбины родной...
и – вот спрошу я у вас – где же им отыскать ресторанчик,
что обеспечить бы мог все условия, что названы здесь?
если ж он где-то и есть, то искать его нужно полжизни, —
а ведь у наших друзей в лучшем случае времени час...
и потому в эту ночь, что достойно отметит их память,
сами они никогда место встречи себе не найдут:
но будет подан им знак незаметный и все-таки – свыше,
ибо традиция есть: не положено воле людей
судьбы земные решать, но вершить их должны только боги,
хоть мы и знаем теперь, что отнюдь не безгрешны они, —
сила астральная есть у феноменов многих и разных,

и как они к ней пришли – недоступно для наших умов, — так что, итог подводя, для возлюбленных наших героев было бы лучше всего, если б в полночи звездной вдруг гром грянул и молнии клин указал однозначно таверну, где небожителей сонм хочет нынешней ночью их зреть, или могучий орел, на ступень перед дверью спустившись, ясно бы им указал, что в ту дверь надлежит им войти, иль на худой бы конец, налились у обоих внезапно ноги, как будто свинцом, и ни шагу ступить не смогли б наши ночные друзья, а из ближнего злчного места чуть ли не в горьких слезах и ручищи в объятья раскрыв, с галстуком наискосок к ним радушный рванулс б хозяин, и – против воли втащил (пусть и с помощью кельнеров двух) в свой (и пустой) ресторан, – и тотчас им вина принесли бы, дальше – накрыли бы стол из остатков минувшего дня... да, в идеале все быть только так и должно бы, конечно, но по причине того, что не веруют люди в богов, те перестали им слать «долгожданные знаки, что свыше», — разве лишь (чтоб подшутить), мышь подставят им вместо орла — так по вере воздастся нам всем! – но, поскольку мы сами виновны, в том, как все дело пошло, надлежит со смиреньем принять даже ту серую мышь: она восточку может благую в сырый наш мир привнести, – например, тем друзьям намекнуть, где им главу преклонить после долгой и славной прогулки: там и конечно, лишь там, где на рампе, в фонарном кругу хлебную корку грызет этот серый актер и хвостатый, кельнер же, юноша-грек, наблюдает безмолвно за ней, ну, а за ними двумя уже старший (и грек тоже) кельнер Аргусом строгим следит, в заведение свое пригласит наших героев забыв... но туда их зовут сами боги! и потому я хочу чуть побольше о том рассказать.

3

И тогда самое время заказать запеченный овечий сыр, начиненные фаршированным мясом баклажаны, бараньи котлеты в виноградных листьях с помидорами, а для начала графин домашнего красного, когда же, наевшись и напившись, переговорив на все личные и безличные темы, вспомнив всех, кого хранит двойная память, меж вами возникнет, наконец, неловкое молчание: этот милосердный бог смерти любой встречи и любого общения, и вы украдкой посмотрите на часы, жестом закажете кофе, и почти в ту же минуту юноша-прислуга с лицом бога Танатоса оставит на столе две чашечки с выпуклой поверх краев кремовой пенкой и две рюмки анисовой водки: традиционный подарок хозяина угодным ему гостям... подождите на минуту расплачиваться: обратите внимание, как на пепельном столбике истлевшей до фильтра сигареты запечатлелось название ее марки, – эта обостренная внимательность поможет вам осознать, почему нынешний вечер оказался одним из наилучших в вашей жизни.

Думаете, дело во встрече с вашим соотечественником? да, но только отчасти, или в хорошей еде? атмосфере? настроении? да, и в этом тоже, но все это, поверьте, не главное, – и как черт, согласно пословице, сидит в детали, так главная причина того, почему вы до скончания

дней не забудете нынешний вечер, заключается во внимательном созерцании старшим кельнером поедающей корку хлеба под фонарем мыши, потому что – и это ясно ребенку – если бы ее не было, вы попросту прошли бы мимо этой таверны в поисках другой и более приличной, тем более что их в центре Мюнхена несколько, а вам, собственно, опытный в ресторанных делах приятель рекомендовал как раз ту, что кварталом дальше.

Но мышь все решила, – кстати, когда вы встанете из-за стола и хозяин, довольный чаевыми, проводит вас до дверей и сердечно с вами простится, а вы с порога ступите во мрак и холод, притворно смягченные неоновым светом, то мыши под фонарем уже не будет, зато по-прежнему угрюмо и неуклюже, точно приклеенные, будут шелестеть на ветвях еще не сорванные ветром бурые листья, – и пусть в октябрьском полуночном мюнхенском небе немыслимы древние светлые греческие боги, все-таки далекая улыбка их, так похожая на мигание бледных звезд, наметит вам, что это, быть может, именно они послали мышь на вашем пути в тот памятный вечер.

XVI. Баллада о Самой Большой Удаче в Жизни

1

Как же, о господи, мне повезло!
недругам тайным как будто назло

лучшую тещу ты мне подарил —
чем я подарок такой заслужил?

Двух дочерей – и прекрасных – она
вырастила совершенно одна:

грации женской двойной экспонат —
я на одном из них даже женат!

Спорить я с тещей могу обо всем,
взгляды не сходятся наши ни в чем, —

стоит же взгляд мне на ней задержать,
оба улыбку не можем сдержать.

Так что все споры не стоят гроша —
в нашей улыбке вся наша душа!

этой улыбки – добрейшей насквозь —
нет в наших лицах, когда мы – поврозь.

Правда, чтоб зятем скучнейшим не стать,
тещу люблю я подчас испытать, —

по гороскопу она – Скорпион:
тот, кто в своей правоте убежден

ныне и присно, во веки веков, —
вот ведь у тещи характер каков!

И потому – как внимательный зять —
должен я с грустным лицом ей сказать,

что вот опять, мол, ошиблась она:
в краску тотчас, как от рюмки вина,

мой возмущенный войдет визави, —
даже давление подскочит в крови.

Станет немножко неловко и мне:
что же я так бессердечен к родне?

снова я к теще моей подойду —
с нею другой разговор заведу:

будем о дочках ее говорить,
и – как непросто ей было прожить

жизнь, что нелегкой, но славной была:
все в ней припомнить она бы могла,

с Фаустом вместе сказав: «Хороша
жизнь, ибо в каждом мгновенье – душа».

Все бы я дал, чтобы то же сказать
мог и о жизни своей ее зять.



2

Самая большая удача в жизни – это, конечно же, заполучить идеальную тещу, но что такое идеальная теща? та самая пожилая располневшая женщина, которая знает жизнь как свои пять

пальцев и которая доказала это свое великое знание не какой-нибудь сомнительной эрудицией, которой вы при случае можете блеснуть, а тем, что вырастила и воспитала одна двух дочерей, причем таких, что одной вы просто восхищаетесь со стороны, а на другой даже женились и ни разу не пожалели о своем судьбоносном поступке, далее, на которую вы, быть может, в свое время даже не обратили бы внимание, как и она, впрочем, на вас, зато которая теперь, когда собираются вместе она, вы, ее дочь и ваша жена и ее внучка, а ваша падчерица, сидя в центре «семейного портрета в интерьере», то есть будучи одновременно и мамой, и бабушкой и тещей, все-таки непонятным образом гораздо больше напоминает тещу, нежели маму и бабушку.

А доказательством тому является ваш собственный опыт зятя, когда вы с приятным удивлением, еще не веря до конца свои глазам, замечаете, как о ваше взаимное друг о друге уважение, но еще больше об ее несокрушимое добродушие, точнее, почти слепой инстинкт видеть во всем сначала хорошее, а потом уже все остальное, как волны о скалу, разбиваются и ваши расхождения в религии (она принадлежит к старому поколению и потому насквозь православная, а вы, как прогрессивный человек, склонны к буддистам и йогам), и ваша разность в отношении к людям (она выросла в большой семье, ценит и любит общение, ваша же семья числом была минимальной, да и люди, просто как люди, по большей части действуют вам на нервы – имеете на то полное право!), и еще тысячи других и мелких несоответствий типа вашего упорного нежелания желать за столом «приятного аппетита» (ведь либо он есть, либо его нет, а от пожелания ничего не меняется), или говорить перед уходом ко сну «спокойной ночи» (в фильме «В джазе только девушки» подобное пожелание означало, что тот человек скоро заснет навечно), или при чихании произносить «будь здоров» (вместо того чтобы строго и неодобрительно посмотреть на чихающего: ведь сколько микробов он выбросил в окружающее пространство!) и так далее и тому подобное.

Короче говоря, вся эта ваша почти юмористическая и вместе довольно твердая демонстрация собственного и сугубо индивидуального стиля жизни при минимальной готовности пойти навстречу «старому человеку» представляет собой, если присмотреться, некоторое – и сознательное с вашей стороны – испытание для гордого и трогательно-старомодно-авторитетного характера тещи, испытание, которое, нужно сказать, она с честью выдерживает, и которое едва ли не более важно для вас самих: видя ее доброту и покладистость, вы и сами становитесь добрей и покладистей, – а не это ли, в конечном счете, самое главное в жизни?

XVII. Баллада о Моей Хорошо Состарившейся Маме

1

Когда я думаю о том, что моя мама не удосужилась ни разу за сорок лет навестить меня в Германии – если не ради своего единственного сына, то хотя бы ради своего единственного внука – когда я, далее, припоминаю, с какой неохотой она спрашивает меня по телефону о моей жене или теще – которые, между прочим, прекрасно к ней относятся – и в то же время всякий раз прибавляет: «Ну а у тебя-то все хорошо в семье?», желая втайне услышать в ответ: «Да как тебе сказать – всякое бывает...» – чтобы опять пригласить меня к себе в наш родной город S., причем меня одного... когда она подолгу и с ностальгической старческой заикливостью рассказывает об одном и том же: о былом и давным-давно распавшемся треугольнике семьи – отца, матери и сына – треугольнике, в котором, осмысливая его с холодным лермонтовским вниманием, буквально живого места не было, и когда я, наконец, пытаюсь понять ее несколько странную для меня материнскую любовь – как можно любя отправлять сына ежегодно в пионерские лагеря, которые он не выносит? как можно любя отвести сына в милицию за то, что он вместе с приятелями снял несколько арбузов с поезда? как можно любя не давать сыну согласие на выезд и только из-за улыбнувшейся квартиры в центре города, о которой она всю жизнь мечтала, и которую я ей путем двойного и нелегального обмена сумел обеспечить, покидая навсегда город S., изменить решение? – короче говоря, подводя все вышесказанное к общему знаменателю, я не могу не вспомнить об универсальной природе духов в буддийской интерпретации: в данном случае, духе или ангеле материнской любви.

Она, эта интерпретация, в частности, утверждает, что, несмотря на иные безграничные возможности в смысле преодоления, скажем, пространства и времени, сфера воздействия любых духов – и в особенности, после инкарнации – принципиально ограничена, хотя и в разной степени, – отсюда вытекает, что если у какого-нибудь отдельно взятого духа материнской любви слабые крылья, то он просто не может воспарить в своей родительской любви так, как сам бы того хотел и как того требует его вечная, врожденная, и быть может, в конечном счете все-таки им самим для себя надуманная природа, и любые упреки здесь неуместны: приняв на веру такую космическую конфигурацию, начинаешь снисходительней относиться и к своим ближайшим родственникам, и к людям, и к себе самому.

Если же, напротив, проникнуться ощущением безграничных возможностей духов и души, а также прямо вытекающей отсюда полной ответственностью за каждый жизненный шаг – да еще в единственной по определению земной жизни! – то тяжесть чувства вины, рождающаяся, например, из осознания слабости любви, подобной любви моей мамы, но также и моей собственной, становится физически невыносимой, – и вот тогда, пусть и не часто, приходится невольно смотреть на себя и все вокруг тем предельно пронзительным и не знающим теплоты сочувствия взглядом, каким смотрят на созерцающего наши православные иконы.

2

Молодости человек так не рад,
как ему страшен под старость распад
тела как храма бессмертной души...

И вот тогда все средства хороши,

чтобы прочувствовать тела распад
так, словно ты ему чуточку – рад.

Я это в точности мог наблюдать,
видя, как возраст стал маме под стать.

В зеркале взгляды однажды сошлись
наши, читатель, теперь – улыбнись:

жизни пошло ей на пользу бардо —
общность явилась с Марлоном Брандо.

Прежде и мысли о сходстве таком
быть не могло – никогда и ни в ком.

Мама моя патриоткой была.
Также работницей славной слыла.

Много имела хороших подруг.
Узок был, правда, семьи ее круг.

Муж – и отец мой – ушел из семьи.
С ним и все братья и сестры мои:

их – нерожденных – прикончил развод.
Крепче семьи оказался завод,

ибо отец приучился там пить.
Многих непьющих он смог пережить.

Мама иную имела мечту,
видя предельную в ней красоту:

жить в центре города – и только там
фору легко даст всем прочим мечтам.

Каждый, кто вырос в родимом совке,
знает об этом жилом тупике.

Видел я часто – пока не подрос —
скольких испортил квартирный вопрос.

Только покинув родную страну,
смог подарить я вторую весну

маме, свершив нелегальный обмен —
и как бы крошечный стал супермен.

Но – шутки в сторону, а без меня
мама жила б до последнего дня

в дачной окраине, где так хорош
воздух, который она ни во грош

ставить упорно не склонна была,
и – девяносто с лихвой прожила.

Я же давно на чужбине живу
и – второй родиной землю зову,

где родился – в городке Эйзенах —
он – «мое все»: кто? конечно же, Бах.

Не удосужилась мама моя
съездить туда, где с семьей живу я,

втайне желая понравиться тем,
кто с перестройкой давно стал никем.

Да, изменилась Россия-страна,
но – диссонансом, как прежде, сильна.

Режет контраст нестерпимо нам слух —
это и есть сокровенный наш дух.

Подвиг великий нам легче свершить,
чем в тишине и в достоинстве жить.

Предосудителен западный свет
к тем, у кого чести в мелочи нет.

Может, конечно, с другой стороны
не понимаем родной мы страны:

так, как состарилась мама моя,
вряд ли сумею состариться я.

Что тогда проку от мыслей моих,
если мне трудно достоинство их

чуждых распаду чертами лица,
точно печатью, скрепить до конца?

Снова смотрю я на маму мою:
родины автопортрет узнаю.

Тех, разумеется, сталинских лет —
много в них мрака, но есть в них и свет.

Трусость там есть, но она так сродни
робости, всякой лишенной брони...

Свету от свечки та робость близка,
ибо в ней нет ничего — свысока.

Скучна округлость без острых углов.
Любит начальство согласие без слов.

Однообразен отчасти и свет,
если частицы в нем сумрака нет.

Сжиться с покорностью может любовь?
или нужна ей горячая кровь?

Этот вопрос, что страшной гильотин,
русским и задал маркиз де Кюстин,

нож им в самое сердце вонзя.
Вот только, к счастью, ответить нельзя

определенно вполне на него.
Я это понял лишь после того,

как пригляделся внимательно к ней:
в зеркале к старенькой маме моей.

Как хорошо постарела она!
и как вдруг явственно стала видна

прежде не видная в теле — душа...
этим-то старость ее хороша!

Многое дал бы я, чтобы узнать
и про маркиза предсмертную статью:

как его тела свершился распад,
был ли ему он хоть чуточку рад,

и сохранил ли он образ лица,
в коем достоинство есть до конца.

3

Как страшно разваливается тело под давлением возраста и болезней! и как трогательно сознание сопротивляется этому неумолимому природному процессу! ведь нет же и не может быть, кажется, в человеке ничего такого, что было бы вполне независимо от клеток, тканей и органов, а это значит, что любое и самое ничтожное их недомогание тотчас передается душе и духу, что бы под ними ни подразумевать: вот почему, когда человек мужественно и до конца сопротивляется болезням, отгоняет от себя раздражение и депрессию, пытается оставаться оптимистичным и доброжелательным к людям и к жизни, мы его уважаем и перед ним преклоняемся, – нам кажется, что кроме как силой воли и мужеством невозможно противостоять разрушению плоти, и что в этом самом противостоянии заключается как раз вся суть и сила духа, – да, все это несомненно так и есть на самом деле, но остается все-таки в сознании некий неустранимый оттенок, как бы привкус тончайшего психического дискомфорта, и вот это самое субтильное чувство, если как следует в него вдуматься, коренится в нашей врожденной вере, что между духовным и материальным нельзя просунуть и волоса, а значит, само состояние тела еще прежде, чем сознание начнет в нем и за него бороться, достаточно адекватно воплощает заключенный в нем дух.

Иными словами, здесь имеется в виду древняя истина, что в юности мы имеем лицо, подаренное нам судьбой, а в старости то, которое мы сами заслужили, то есть насколько благообразно мы состарились, как мало у нас появилось безобразных морщин и складок, и до какой степени черты лица сохранили одухотворенное выражение, – это самое важное и это является первым признаком духовности, – а если этого нет, если тело разрушилось так, что свет духовности тлеет в нем, как последний уголек в бесформенной куче сгоревших дров, и выражается только в последнем отчаянном и жалком крике: «Я, душа, существую, но не имею ничего общего с этим телом!», – то это, конечно, тоже духовность, но как бы уже второго порядка.

Поэтому когда моя мама, случайно проходя мимо зеркала, задерживается перед ним взглядом – а я тоже смотрю на нее в этот момент, и мы полуулыбаясь встречаемся взглядами в зеркале – и видит там крупные благородные черты лица, видит осанку головы, напоминающую Марлона Брандо – а ведь в молодости и зрелости такого сходства не было и в помине – видит все еще живые и теплые карие глаза под высоким безморщинистым лбом – хотя и волос на голове почти не осталось – и все это несмотря на девяностолетний возраст, несмотря на то, что от болей в суставах она не проспала в последние годы ни одной нормальной ночи, несмотря также на то, что ни шагу она не может теперь сделать без крика или стога, – итак, видя все это, она, по моим расчетам, должна непременно чувствовать мгновенный, пусть и малый прилив некоей невольной гордости за несомненное и всеми замечаемое достоинство, которое сумело сохранить ее состарившееся, трепемое болезнями тело, и это достоинство как будто поддерживает ее духовно и дает ей дополнительные силы жить дальше, – но так ли это на самом деле, я точно не знаю, потому что никогда маму об этом прямо не спрашивал.

XVIII. Баллада о Трех Соседях

1

Тише как можно прожить эту жизнь – вот великое дело:
чтобы лишь ход облаков она людям напомнить могла, —
легких и светлых теней в дивной бездне, просвеченной солнцем:
это когда день за днем беззаботной плывут чередой,
темных, тревожных теней в неземном и подлунном сиянии, —
если страданье и смерть на часах подле жизни стоят, —
ибо когда все пройдет, в те же самые облаков тени —
светлы они иль темны – обратится и вся наша жизнь.

2

Если как-нибудь в начале марта, выйдя из подъезда и увидев соседа-немца, выбрасывающего мусор – чрезвычайно добродушного и общительного человека – вы спонтанно разговоритесь, и он по ходу разговора, заглянув в безоблачное голубое небо, задумчиво промолвит, что вот наконец-то наступила весна и зимняя депрессия закончилась, а вы сами не зная почему вдруг скажете, что, напротив, весной-то и разыгрывается настоящая, матерая, нутряная депрессия, но сосед не поймет вашу мысль, однако на всякий случай понимающе улыбнется, а вы, поскольку у вас всегда были хорошие отношения с ним и еще по причине вашего боевого настроения в данный момент подтвердите вашу догадку классической фразой о том, что нынче прямо «Моцарт разлит в воздухе» – а ведь это, в сущности, все равно что сказать: «Я только что позавтракал яичницей»: в том смысле, что как дважды два четыре – и тогда сосед ваш очень пристально взглянет на вас, и в его взгляде вы ясно прочтете два вопроса: первый – «Здоровы ли вы душевно?», и второй – «Не издеваетесь ли вы над ним?», – так вот, после того как вы разубедите его в обоих пунктах и даже искренне попытаетесь разъяснить ему вашу точку зрения, и разговор ваш примет привычное житейское направление, и вы от души проболтаете еще минут сорок, – знайте, что после этого разговора вы ни сблизитесь, ни отдалитесь, и ничего нового вы ни друг о друге, ни о мире не узнаете, – зато у вас будет шанс догадаться, что никогда еще, быть может, ваш скрытый комплекс неполноценности не выражался с такой детской наивностью, с такой гениальной простотой и с таким неподдельным очарованием, – а поскольку тайное, становясь явным, не обязательно исчезает, то и вы после разговора останетесь под впечатлением некоторого томительного недоумения, как и ваш сосед, – и все-таки первый шаг сделан, «лед тронулся», как говорил незабвенный Остап Бендер, и никогда еще никакой день не начинался так хорошо, как этот: в этом вы можете быть вполне уверены, – но пока только в этом.

3

Если же все это так, и финал нам досрочно известен —
самое время начать в этом мире воистину жить,

то есть не ждать ничего от спектакля под громким названием:
«Жизнь нам однажды дана и оставить в ней надобно след»,
но – до антракта уйти, чтоб успеть наглядеться на звезды:
(их не сравнивать с потолком, что над зрительским залом висит),
встретить прохожих иных: как естественны все их движения
(и как заметна вдруг ложь на их фоне артистов игры).

4

Решительно во всем, что касается этого мира, можно и нужно сомневаться, и только в одном для порядочного человека не может быть сомнений, а именно: что существует неизбежная иерархия вещей, верхние из которых совсем не подвержены страданиям, срединные страдают тихо и незаметно, и лишь низшие не только громко страдают, но и во весь голос кричат о своих страданиях, стремясь исподволь придать им возвышенный и даже трагический характер, – итак, признавая эту великую иерархию, я постоянно вспоминаю о моем соседе-немце, совершенно непримечательном человеке, который долго болел раком, при встречах заводил какие-то странные разговоры и при этом очень внимательно заглядывал в глаза, точно пытаясь в отведенные ему последние месяцы жизни проникнуть во что-то, о чем в обыкновенном и более-менее здоровом состоянии люди даже и не задумываются, а потом он внезапно исчез и больше уже не появлялся, и вот это его тихое и бесшумное исчезновение, подобно проплывшему в осеннем небе облачку, действует на меня и по сей день, не знаю почему, сильнее любых громких героических смертей, в том числе и самой, пожалуй, громкой: нашего Пушкина... Впрочем, что значит – не знаю почему? очень даже хорошо знаю – как раз по причине существования вышеописанной иерархии, – но для того, чтобы чувствовать ее душой и сердцем, нужно иметь хотя бы минимальную склонность к восточной духовности, и то обстоятельство, что наш русский брат из всех народов земного шара как будто наименее для нее восприимчив, принуждает меня в ином и новом ракурсе взглянуть и на нашу культуру, и на нашу историю, и на нашу ментальность: быть может, в этой-то онтологической перспективе как раз и залегают корни той непостижимой по масштабу дисгармонии – это не значит, что в ней нет своеобразного величия, еще какое! – которая является, думается, первичной характеристикой нашего национального характера, да, слишком большая, я бы даже сказал, вопиющая по масштабу театральность, лежащая в его основе, театральность безусловно талантливая и все же мучительно несоответствующая главной тональности бытия, театральность, отступающая только тогда, когда речь идет о жизни и смерти нации, – вот она-то, думается, и является источником всех наших бед, и поразительно, что осознать эту великую истину помог мне мой сосед.

5

Далее: в дом возвратясь и с женой выпив чай на балконе
(есть ли сильнее контраст той заумной, пустой болтовне,
что завершает всегда всякий культовый акт театральный?),
тихо в иной мир уйти – разумеется, лишь до утра —
(если же дольше, то нас отведут туда только за руку), —
и, перед тем как заснуть, очень странный один диалог
вспомнить с соседом весной, – и другого соседа припомнить,
что не дожил до весны, и в глаза вам подолгу смотрел...
что-то хотел он сказать, но что именно, я не узнаю,

можно о том лишь гадать: это был бы скорее всего
самый обычный пустяк, – их не склонна удерживать память,
ибо похожи они на песок или капли воды,
кои немислимо счесть... то ли дело предсмертные жесты,
но еще больше слова, что последними мы назовем:
лягут отныне они на душе их слышавших камнем, —
трудно тот камень нести, сбросить напрочь гораздо трудней.

6

Музыкальная гармония – и только она одна – сохраняет наш мир и правит этим миром, так что в той самой степени, в которой отношения между людьми перестают «звучать», как говорят музыканты, – в той самой степени в мир входит феномен, который моралисты именуют громким словом «зло»: зная этот мировой закон, я и еврей-профессор-искусствовед, приехавший давным-давно из Санкт-Петербурга и проживающий двумя этажами выше, встретившись случайно на улице, в магазине или в лифте, общаемся самым сердечным образом, – нам есть настолько много о чем поговорить, что, кажется, душевный разговор, раз возникнув и приняв классическое «русское русло», уже никогда бы не остановился, – однако существует опасность, что один из нас будет с «аппетитом», как говорил Тургенев, говорить только о себе, слушая собеседника лишь для проформы, – ведь мы оба, в конце концов, авторы, а какой автор интересуется другим автором? ему нужны только собственные читатели или слушатели... впрочем, за себя я поручиться могу, а вот за моего соседа – нет, кроме того, я на подобном одностороннем диалоге уже «собаку съел»... итак, мы упорно не приглашаем друг друга в гости и даже при случайных встречах не говорим часами, хотя взаимная симпатия между нами есть, хотя пообщаться о «высоких материях» нам кроме как друг с другом больше и не с кем, и хотя всякий раз, когда разговор обрывается по сути не начавшись, я испытываю очень субтильное и очень тягостное чувство, и мой профессор, наверное, тоже... и все-таки мы боимся сделать решающий шаг и распахнуть двери стихийного общения, – а ведь наверняка из этого вышло бы больше хорошего, чем плохого, и оправдание нашей взаимной уютной трусости необходимостью «держат дистанцию», дабы не разрушить хотя бы то, что есть, – оно, это оправдание, при внимательном рассмотрении не выдерживает критики: в конце концов, разве на одной дистанции зиждется музыкальная гармония? и разве не бывает в музыке острых диссонансных всплесков и полного катартического примирения? да, все это бывает, но только не у самого великого музыканта: И.С. Баха, – и как пушкинский Сальери в финале оправдывает свое злодеяние сомнительной ссылкой на Микеланджело, так по крайней мере я – о моем славном соседе судить не берусь – вынужден оправдывать наше странное, но по-своему оригинальное и, главное, вполне искреннее общение с соседом-профессором с верхнего этажа ссылкой на великого немца: нет, а ведь воистину есть в нем – этом нашем общении – что-то похожее на баховскую тональность, клянусь вам, и если меня спросят, что же именно, я без запинок, как хорошо выученный урок, отвечу: главное – это когда люди субстанциально, то есть день и ночь и пожизненно, связаны пусть тонкой, зато несокрушимой взаимной внутренней симпатией, а вот сколько и как они при этом общаются, не играет по сути особой роли.

7

Также есть третий сосед – и совсем для меня он не лишний:
тоже, как я, эмигрант (немцы были те первые два), —

хоть и общение с ним, соответственно, очень непросто, —
с музыкой сходно оно, где двойной и тройной контрапункт,
в узел сплетаясь тугой, расплетаются множеством нитей, —
этим хочу я сказать, что великая, может быть, роль
выпала в жизни тому (но лишь в жизни, как облако, тихой),
кто к вам приставлен судьбой как простой ваш по дому сосед.

XIX. Баллада о Собаке

1

Остановившись посреди моста,
она меня обнюхивала страстно, —
возбуждена от морды до хвоста, —
хозяин ей кричал напрасно.

По существу и я доволен был,
играя роль востребованной вещи, —
к мирам иным разыгрывая пыл,
мы на себя немного – но клевещем.

Как правило, чужой собачий взгляд
всего лишь душу в нас разнюхать хочет, —
приятный, но бессмысленный обряд,
он только самолюбие щекочет.

Самой природой сделанный акцент
на всех людских амбициях тщеславных
и, может быть, единственный момент
понять, что мы с животными на равных.

2

Она стояла на мосту с тоскливым и прибитым видом и, несмотря на повторные окрики хозяина, никак не могла отказаться от удовольствия тщательно и всесторонне меня обнюхать, и взгляда ее – снизу вверх, извиняющегося, слегка заискивающего, почти жалобного и до боли искреннего – можно было бы даже устыдиться: вот, мол, кто она и кто я, и какая бездна пролегает между нами, – если бы она не рассматривала меня в первую очередь как любопытно пахнущий предмет.

И вот хоть на короткое время оказаться таким любопытно пахнущим предметом, на которого взирают с благоговейным любовным вниманием, точно в первый день творения, вниманием настолько пристальным, что, глядя в собачьи глаза, вы забываете все на свете, и в то же время настолько необязательным, что вы, зная, что о вас в следующую минуту навсегда забудут, чувствуете себя свободным как ветер, свободным, как вы никогда не были свободны среди людей, – да, в этой мимолетной встрече с миром животных есть что-то абсолютно первобытное и даже, я бы сказал, райское, хотя не обязательно в библейском смысле.

Тем более что появляется странное, непонятное, но вполне осязаемое блаженство полноты общения, точно вы встретились и поговорили с человеком, которого не видели двадцать лет и за это короткое время успели понять его в главном, как никогда бы не поняли, если бы прожили все эти годы рядом с ним (так художник понимает своих персонажей и так никогда не понимают они себя и друг друга): только в одном случае полноте общения сопутствовали

два десятилетия, а в другом – две минуты (тождественные, правда, отсутствующей вечности), однако результат один.

Вот в такие именно моменты не умом одним, а всем существом своим начинаешь догадываться, почему люди нас так часто разочаровывают, а домашние животные практически никогда, – и хотя из этого никак не следует, что животных нужно любить больше, чем людей, мы все-таки, точно назло кому-то, упорно продолжаем это делать.

XX. Баллада о Любимом Коте

1

Мой кот мне больше, чем приятель, —
он член моей семьи давно,
неважно, кто его создатель:
здесь все на славу создано.

Короткошерстный он и серый,
британский, голубых кровей, —
но на английские манеры
плюет мой русский котофей.

Как все коты, он не считает
людей творения венцом, —
и дружбу только к тем питает,
в ком чует душу за лицом.

Мудрец немного, жить он волен
без всяких мишурных убранств, —
и потому вполне доволен
пределом комнатных пространств.

Что говорю? по жизни тянет
в духовном смысле он меня:
тем, что без пищи дни протянет,
а без любви так и ни дня.

Собак он вовсе не боится,
и птичку вряд ли задерет, —
но если ссоре быть случится,
на нас он сразу же орет!

Семьи гармонии хранитель,
стареет он быстрее нас, —
и в чудную зверей обитель
сойти его все ближе час.

Его я там потом и встречу,
а если нет? вскричит простак, —
тогда — с готовностью отвечу —
я что-то сделал здесь не так.

И разве вместо благ премногих

нам встретить снова не важней,
пусть и слегка четвероногих,
но самых преданных друзей?

2

У меня есть кот из породы британских короткошерстных, у него поистине королевская родословная, и у всех нас – домашних – сложилось мнение, будто больше всего на свете он любит меня: почему? в любое время дня и ночи он требовательно зовет меня поласкать его, и эти ласки для него даже важнее еды, не говоря уже о прочих занятиях, – есть, однако, только одно место в нашей квартире – на кухонном шкафу – где он привык, чтобы я ласкал его, другого места он не признает, и если я, скажем, болею, он не приблизится ни на шаг к моей постели, – и вот я спрашиваю себя, точно ли это его чувство – любовь ко мне, и нет ли тут скорее своеобразного и почти религиозного ритуала? ведь это малое серое животное сначала избрало меня среди прочих двуногих, потом оно назначило место отправления ритуала, и наконец определило главного жреца его, то есть меня, а тот, ради которого все это организовано, – это и есть он сам, мой британский короткошерстный божок.

Нет, вы только вдумайтесь в это, любезный читатель! сколько здесь нюансов, не уступающих ни одной мудрой книге и сколько subtilной иронии! итак, сначала идет воля, а потом любовь, так всегда было, есть и будет, Шопенгауэр прав: только волей создавались миры и мировые религии, а любви там всегда было, – возьмите хоть Иисуса, хоть Будду: слов о любви вокруг них было сказано немало, а вот реальные и живые проявления любви в их непосредственном окружении вы будете искать, как говорится, «днем с огнем», да и Анна Каренина после родовой горячки вроде бы вернулась к мужу, сделав серьезную заявку на победу любви общечеловеческой над любовью избранной и половой, – вот только, к сожалению, ненадолго: кто не замечает, что здесь незримо схватились гений Льва Толстого и гений Иисуса, и что первый одержал безусловную победу над вторым, тот ничего уже не видит.

Хотя – известен случай собаки, ежедневно навещавшей место, где она в последний раз видела своего погибшего хозяина... но ведь у собаки иная конфигурация воли, так что сам по себе постулат о превосходстве воли над любовью от этого нисколько не страдает, – только вот что нам с этим постулатом делать? сетовать на него? радоваться ему? и то и другое, скажем так, не совсем прилично, – и вот, рванувшись для вида сначала в одну, а потом в другую сторону, остаешься на месте и оставляешь все как есть... прекрасно!

3

Все, как известно, коты – просто в силу кошачьей природы, встретив впервые людей, недоверчиво смотрят на них: видят в нас сложную вещь, предсказуемый, в общем-то, робот, с множеством разных программ все животные, прежде – коты. Матрицу в нас распознать, что добром, как и злом управляет, в наших сумбурных сердцах должен быстро и точно их взгляд, времени мало у них, промедление смерти подобно, здесь ошибиться нельзя, хоть задача их очень сложна. Разве не та же рука их погладит, утешит, накормит или на месте прильнет? говорят – человека рука... хоть очевидно для всех, что не может и близко быть сходства

между владельцами рук – они будто с разных планет, —
и вот все это понять: безошибочно, тихо, мгновенно
должен наш маленький зверь – и душевная ноша его
в этот малый решающий миг не уступит героям Шекспира:
вот и решай для себя, что важнее – искусство иль жизнь...
Правда, бывает и так, что коты от людей убегают
в точности зная, что те не желают им зла причинить, —
может, играть хотят, а скорее, дистанцию держат:
особь двуногих существ не обязаны кошки любить.
Впрочем, у них есть черта – не заметить ее невозможно —
к людям почти что любым, даже тем, кто содеял им зло,
дверь приоткрыта у них: так что каждый, кто искренне хочет,
снова в доверье войти и живое общение творить,
может в ту дверцу войти, – только что вот из этого будет,
точно нельзя предсказать: возродится ль меж ними любовь,
или одна лишь приязнь, иль спокойная ровная дружба, —
все со смиреньем принять должен будет тогда человек.
Так происходит, когда посещает супругов измена:
хоть и убита змея, не проходит годами укус...
Много успел я узнать точек зрения на человека
в сущностном срезе его, – в них единство напрасно искать:
боги вещают одно, им по-разному вторят святые,
сам о себе человек разногласья одни говорит,
также у диких зверей не найдем мы на это ответа,
разве спросить марсиан? они только плечами пожмут...
Так что, итог подводя и желая то мнение выбрать,
в коем не истина, нет, но подобие истины есть
в главном аспекте ее: наибольшем сближении с правдой, —
взгляд нам придется принять, каким смотрят кошачьи на нас, —
образ, увиденный в нем, нам о нас основное все скажет:
зеркало хочешь иметь, заведи-ка, дружище, кота!

XXI. Баллада о Человеческом и Божественном в Природе

1

Человеческое в природе можно наблюдать на каждом шагу, более того, при ближайшем рассмотрении кажется даже, что нет в природе ничего, что было бы вовсе лишено хотя бы отдаленного сходства с людьми, поэтому трудно остановиться на чем-то определенном, – разве что наугад ткнув пальцем... пусть это будет всего лишь в качестве примера, соперничество, – что за опасная вещь! оно уже между супругами работает как мина замедленного действия, оно в состоянии разрушить любую дружбу и погубить на корню любое живое и теплое чувство, оно разрушительно во всех областях жизни за исключением, быть может, спорта, оно явилось причиной многих войн, и оно же, как поговаривают злые языки, было главным мотивом отпадения Люцифера от Бога, – в мире животных центральную роль соперничества можно наблюдать на примере приручения львов и тигров: действительно, если, с одной стороны, собака сама по себе не может быть злой, когда хозяин ее добрый, и если, с другой стороны, змею приручить невозможно по причине змеиной ее природы, то укрощение тигров и львов неизменно стоит на обоюдоострой грани, то есть сохраняется риск смертельного нападения на человека, будь то укротитель или посторонний, а все потому, что львы и тигры – в отличие, например, от более слабых хищников, таких как пантера или леопард, которых можно воспитывать без страха для жизни и которые способны реально впитывать в себя человеческую любовь и (только) вместе с нею ощущение естественного превосходства людей над животными – так вот, тигры и львы чувствуют себя в первую очередь не друзьями и тем более не подчиненными человека, а его врожденными соперниками, и ничто не может устранить до конца в них это царственное и вместе ужасное настроение души: сам образ человека понуждает их нападать на него снова и снова, даже если они сыты и нет угрозы потомству, в случае же их приручения запоздалое и внезапное осознание нанесенного их природному достоинству оскорбления чревато гибелью для всякого, кто оказывается в этот критический момент в их непосредственной близости.

2

Как и феномен любой, относительно всякая святость,
степень здесь очень важна, в какой мы над природой своей,
не упраздняя ее, приподняться естественно можем, —
так что кому не дано сил, чтоб подвиг духовный свершить,
но кто свершает его – каким образом, нам непонятно
в наших бывает глазах предпочтительней даже того,
кто совершенен во всем по причине природы счастливой:
то есть в ком Низшего нет и кому неизвестна нужда,
к Высшему сердцем стремясь, себя вечно тащить из болота,
за уши больно схватив, – потому в ядовитой змее,
что, хомячка получив в своей клетке однажды стеклянной,
чтобы всего только жить – вегетариев нет среди змей —
вместо того чтобы съесть, завела с ним престранную дружбу —
так что и ныне они вместе рядышком мирно живут, —

да, в этой самой змее – справедливости ради единой —
святость должны мы признать, не копаясь в мотивах иных.
Ибо копаться в душе даже светочей самых великих
есть неоправданный риск: там найдем мы чудовищ таких,
что и в морской глубине не так часто, быть может, и встретишь,
ну, а поскольку пример хомячка с дружелюбной змеей
не единичен отнюдь: много случаев слишком подобных! —
мир нам природы милей недоступной когорты святых.
Правда, об этом молчат: только то, что не вверено слову,
жить нам возможность дает без оглядки на совести глас.

3

Итак, Божественное в природе сказывается не в безусловном превосходстве Высшего над Низшим в том или ином живом существе, а в той (обычно малой) мере, в какой Высшее преодолевает Низшее, не изменяя и тем более не упраздняя собственную природу: поэтому в тигре, живущем в братском сожительстве с козлом, или в львице, воспитывающей юную антилопу как своего детеныша, следует без всякого преувеличения признать черты подлинной святости, – но больше всего их в той змее, которая подружилась с брошенным ей на съедение хомячком: вот почему, наверное, мир животных мы заключаем в сердце целиком и полностью и без каких-либо ограничений, тогда как на первый взгляд идеальный и запредельный мир разного рода святых, чудотворцев, подвижников и духовных учителей нами интуитивно воспринимается хотя и с восторженным удивлением, но одновременно и с некоторым нутряным сомнением, точнее, с идущей из глубины души насущной потребностью как следует разобраться в этом чрезвычайно важном для нас деле: то есть какова природа этих выдающихся людей? в чем заключается их Высшее и где залегает их Низшее? а главное, какова у них степень преодоления Высшим Низшего? однако поскольку удовлетворительно ответить на все эти ключевые вопросы принципиально невозможно по причине исключительной сложности рассматриваемого феномена, постольку некоторая (и втайне радующая нас) затруднительность в осуществлении последнего и решающего выбора – подобно Дамоклову мечу – висит над нами, и мы продолжаем как ни в чем ни бывало жить между обоими мирами, как сидеть между двумя стульями.

XXII. Баллада о Бомже с Собакой

1

Когда в один прекрасный день, прогуливаясь по Зендлингер-штрассе, одной из самых характерных улиц Мюнхена, и остановившись в задумчивости подле Старых Ворот из красного кирпича, этой столь же древней, сколь и трогательной достопримечательности города, вы видите сидящего в аркадах старика-нищего в разодранном пальто, смахивающем на картофельный мешок, и с замусоленной кепкой в руке, рассеянно разглядывающего праздную толпу, пытаясь придать лицу униженно-просящее выражение, обращаете, далее, внимание на какую-нибудь грациозно продефилировавшую мимо молодую женщину с точеными чертами лица, осиной талией, белой блузой поверх черной майки, в плотно облегающих джинсах и с теннисной повязкой вокруг высокого сжатого лба, замечаете потом, что смотрит на нее и старик-нищий и даже провожает женщину внимательным долгим взглядом, но в его глазах, когда он поворачивается к вам, почему-то неуверенным жестом указывая на кепку, не отражается и следа известного великого волнения, а вам, как всякому русскому человеку, воспитанному на Толстом и Достоевском, вдруг хочется сказать ему что-нибудь простое, веское и утешительное, вроде того, что, мол, жизнь, что ты с нами делаешь, однако он, точно догадавшись о ваших несуразных мыслях, недовольно от вас отворачивается, – да, вот тогда экзистенциальная ненужность любого слова, если оно не подкреплено жестом или поступком, а еще лучше, жизненной позицией того, кто его произносит, то есть негласное предпочтение ему волевого молчания и вечной и бесконечной, как универсум, дистанции, – итак, эта крошечная деталь опять и в который раз бросается вам в глаза как, пожалуй, главное отличие между тем, что есть мир западный, и тем, что мы понимаем под русским миром.

Если же рядом с ним сидит еще и собака, причем третья по счету на вашей памяти (первую вы помните совсем смутно, вторая была старая и больная, еле-еле дышала и на людей совсем не смотрела, и вот откуда ни возмись, появилась третья четвероногая помощница бомжа), и она тоже ни на кого не смотрит, в том числе на своего бесприютного хозяина, лишь время от времени вдыхая порывы ветра и шурясь на солнце, так что невольно кажется, будто она стыдится своего положения в этом мире, не говоря уже о хозяине, – да... тогда сцена с бомжом приобретает ту самую абсолютную законченность, в которой тихо жужжит, подобно осе, попавшей в пространство между двумя рамами и пытающейся любыми путями выбраться наружу, музыка баллады.

2

Зендлингертор – выхожу из метро:
Старого Города чую нутро.

Прошлое тихо здесь льется мне в грудь,
шумного дня не касаясь ничуть.

С вечностью под руку чтобы гулять,
хоть каждый день я готов приезжать

к Зендлингертору и только сюда —
здесь не наскучит гулять никогда!

Бомж там знакомый сидит у Ворот,
рядом – собака (а лучше бы – кот).

Бомжа стараюсь постигнуть я суть:
в душу прохожих он хочет взглянуть, —

точно стараясь опять угадать,
сколько вот этот ему мог бы дать, —

что, проходя сквозь бомжей редкий ряд
вдруг задержал умиленный свой взгляд

пусть не на нем (он – открыточный вид),
но на собачке, что рядом лежит.

Тошно от ближних нам вечных гримас.
Трогают больше животные нас.

Этот великий, но грустный закон
хитрый мой бомж и поставил на кон

в вечной, как мир, безобидной игре:
строгим не будем к его мишуре!

Правда, мне память как раз помогла:
третьей по счету собачка была —

с тех пор как бомжа приметив того,
пристальней стал я смотреть не него.

Не повезло им совсем с протее:
прежние, видно, скончались уже.

С новой собачкой теперь он сидит,
так же в сторонку собачка глядит.

Может быть, стыд за хозяина ей
не позволяет смотреть на людей.

Может, сочувствием к бомжу полна,
молча любовь ему дарит она.



XXIII. Баллада о Слепой Женщине

1

В те же часы и на том же углу:
чужда добру, а тем более злу,

что так сближает всех зрячих людей —
точно съестное случайных гостей —

пела — одна перед пестрой толпой —
женщина, что от рожденья слепой,

как утверждают зеваки, была.
Рядом собачка в корзинке спала.

Был ее голос слегка грубоват.
Жест полных рук также чуть угловат.

Голову к солнцу она подняла —
нежит безглазье слепящая мгла.

Тихо в пустых и зеркальных зрачках
небо плывет в надувных облаках.

Да и весь город с его суетой
там приумолк — за нездешней чертой.

А между тем из снующих людей
каждый задерживал взгляд свой на ней:

что ж, к негативу слепого лица
склонны присматриваться без конца

мы — любопытство нам трудно унять:
душу без глаз невозможно понять.

Кто-то монетку ей в блюдце бросал.
Кто-то словцом остроумным блистал.

Кто-то, ее пародируя, пел.
Кто-то еще на собачку глядел.

В общем, людей и вещей длинный ряд,
к ней прикоснувшись, как будто обряд —

низкий? высокий ли? но – исполнял,
и только вид напускной сохранял,

что они нынче от мира сего,
и в них неясного нет ничего.

Если бы пестрая знала толпа:
женщина, что от рожденья слепа,

здесь не за тем, чтоб людей удивить —
кошечек дома ей нужно кормить.

Сам я, едва лишь об этом узнал,
разом нашел, что так долго искал:

там, где сочувствия полного нет,
тайны игривой мерещится свет.

Если ж сочувствием сердце полно,
к тайне любой безразлично оно.

Это к тому я упорно клоню,
что для начала в себе на корню

я бы ту склонность хотел упразднить,
что заставляет нас больше ценить

тайну, чем близких вокруг нас существ,
тайну как сгусток тончайших веществ...

Разве не грех – отдавать веществам
больше любви, чем живым существам?

Как никогда на слепую смотрел
я – и впервые, быть может, прозрел.

2

Приходилось ли вам замечать, любезный читатель, что лица слепых людей по причине отсутствующего выражения глаз выглядят почти всегда для нас, зрячих, отчуждающе и безобразно, но при всем этом вызывают, как правило, безотчетное чувство общечеловеческого, я бы даже сказал, космического сострадания, причем достаточно интенсивного порядка, так что слезы сами наворачиваются на глазах?

Иной раз приходится видеть несчастья неизмеримо большего масштаба, а глаза не плачут, в чем причина? причина, думается, в кратковременном исчезновении привычной иерархии в оценке вещей: ведь когда мы смотрим в глаза другому человеку, мы встречаемся – или думаем, что встречаемся – с его душой, а душа эта по самому своему определению настолько сложный и

многогранный феномен, что мы вынуждены поневоле на него настраиваться и под его воздействием даже перестраиваться, то есть все наши психические чувства – коим нет числа, а еще пуще производным от них возможностям – никогда не выступают в своей исконной целостности, но, как железные опилки в магнитном поле, в зависимости от контакта, выстраиваются в определенном и своеобразно оформленном порядке, то есть чужая душа, будучи сама по себе загадочным явлением, является вместе с тем источником отнюдь не загадочного – и гигантского по своим масштабам комплекса причин и условий.

И вот все это опускается во время наблюдения над слепым человеком, – иными словами, вместо того чтобы отдаться сложнейшему конгломерату осмысления чужого страдания и своему отношению к нему – кто этот человек? каким образом постигло его горе? заслужил ли он его? не кармической ли оно природы? как он его переносит? могу ли я ему помочь? как он будет реагировать на мою помощь? нужна ли она ему? не притворяется ли он, желая моей помощи, и не использует ли меня? и так далее и тому подобное – итак, вместо всей этой невидимой, обременительной, мелочной и по большому счету унижительной работы, предшествующей практически любому акту альтруизма, в нас вдруг возникают сочувствие и сострадание в их чистом, незамутненном, исконном виде: как если бы вместо золотого песка, который нужно еще отмывать и отмывать, явился вдруг чистейший слиток золота.

Да, когда мы смотрим на слепую женщину, которая, чтобы прокормить своих кошечек, выходит с собакой на улицу петь и даже пытается совершенствовать свое пение профессионально, – мы испытываем ощущение, будто наши сочувствие и сострадание к ней на мгновение отделились от всех прочих чувств, налились плотью и кровью и, точно наскоро выструганные папой Карло, выглянули боязливо из души: немного неуклюжие, неприспособленные для жизни, но вполне самостоятельные, то улыбчивые, то плачущие, а главное, монументальные в размерах, – и в этом есть что-то буддийское: так можно сочувствовать только существам из другого мира, так мы сочувствуем животным, так мы сочувствуем иным особенно полюбившимся литературным персонажам, – и если бы я во время какого-нибудь греческого отпуска увидел где-нибудь в пещере истекающего кровью циклопа, которого бы заживо поедали муравьи и мухи, но который бы нашел в себе силы взглянуть на меня единственным своим глазом, и что-нибудь проворчать угрожающее и бесконечно жалостливое одновременно, то, я думаю, какими бы нечеловеческими ни были этот его предсмертный взгляд и это его последнее рычание, я не сдержал бы слез: как и глядя на ту слепую женщину.

3

Она стояла на углу и – пела,
и сколько рядом ни было людей:
застывших на трамвайной остановке,
сидящих празднично в уличном кафе,
снующих взад-вперед по перекресткам
или высунувших голову в окне, —
а также с ними связанные вещи:
как небо, скажем, в легких облаках,
как в нем же ослепительное солнце,
и как под ним – в предвечной суете —
этот родной и надоевший город
(ибо с природой он несовместим,
а человек желал бы быть с природой
в единстве полном, правда, на словах), —

итак, в тот час как люди, так и вещи
не то что были заморожены
тем, как слепая женщина им пела
(как будто бы хотела и могла
она в своем сомнительном искусстве
Орфея подвиг дерзко повторить), —
но как бы все они вдруг приумолкли,
стараясь и не в силах осознать,
что значило – не столько даже пенье,
сколь непривычный облик весь ее:
этот правдивый, неизящный голос,
и грации неженской торжество,
достоинство в движеньях угловатых,
но главное – незрячие глаза:
они что-то такое излучали,
что трудно было выразить в словах, —
так, говорят, есть в сердце мироздания —
оно иначе и не может быть,
если к ночному небу присмотреться
с внимательностью полной хоть бы раз, —
так вот, там есть невидимое солнце,
чьи смертоносны для людей лучи,
да и, пожалуй, для всего живого, —
за исключением разве тех существ,
в ком воплощение духовной жизни,
мы не сговариваясь признаем,
да, солнце темное лишь им нестрашно:
теперь оно нестрашно также ей,
но по другой, болезненной причине...
двусмысленность всегда томит людей
и как-то странно, непонятно их волнует, —
подобное волнение и сейчас
помимо воли люди ощущали,
внимая пенью женщины слепой,
понять пытаясь, что же это значит...
да, также заторможенность была
во всех их чувствах, мыслях и поступках,
как будто из глубокой фазы сна
их вырвал ненароком чей-то окрик
и, миру бдения и миру сна
одновременно будучи причастны,
но ни в одном себя не находя,
они, лунатикам подобно, бродят,
напоминая кукол заводных...
быть может, если б люди вдруг узнали,
зачем слепая женщина поет:
не для того чтоб прокормить собачку,
на одеяльце спящую у ног
(хотя и этого вполне довольно,

чтоб отвернувшись слезы утереть),
а ради многих кошечек своих —
этаких трогательных капризулей,
что выборочны как назло в еде,
и чье питание стоит ощутимых денег, —
да, если бы о том могли узнать
все эти заколдованные люди,
то б их оцепенение прошло,
как в сказке об Уколотой Принцессе,
и на слепую стали бы смотреть
они уже прозревшими глазами:
как на почти что равную себе, —
она бы в главном сделалась понятной...
(ведь только то, что непонятно нам,
в нас вызывает страх и восхищенье, —
но оба эти чувства далеки
от жизни самой важной: повседневной,
и потому их нужно избегать,
и разве что в каком-нибудь искусстве,
дабы отвлечься от житейских дел,
ища разнообразья, ненадолго
ими с душой увлечься хорошо)...
так вот, о чем мы говорили?
да все о том же: о мирах иных,
о том, что люди, если разобраться,
по части фантастичности равны
как минимум, гомеровским циклопам,
о том, что только музыка одна
спасает мирозданье от распада,
и что любовь двусмысленна всегда
(в ее груди все чувства приютились,
и злобы подколотная змея
там вековечно и открыто дремлет,
и ревность, и предательство, и гнев,
и месть — все человеческие страсти,
питаясь от источника любви,
сдвигают музыкальные орбиты
вращения людей всех и вещей,
толкая их к великим катаклизмам),
и любящая разве доброта —
сочувствие как ко всему живому —
с присущей ей дистанцией во всем
быть может, сохраняет этот мир
в гармонии... да, музыка одна
лежит в основе всякого творенья, —
и пение той женщины слепой,
подобно лире древнего Орфея,
заставило прохожих в летний день
порядок мироздания припомнить...

как странно, что похвастаться не мог
подобным мощным действием на душу
один хоть симфонический оркестр —
а они много дали здесь концертов! —
(спешили звуки в ухо там войти,
чтоб выйти тут же из другого уха), —
поистине, мне крупно повезло,
что, оказавшись в тех местах случайно,
услышал я кондукторшу: она
сказала пару слов о женщине поющей, —
ведь были-то соседками они...
тотчас я, повинувшись зову сердца,
с трамвая дребезжавшего сошел, —
и до сих пор не только не жалею
об этом, но готов тот день считать
одним из самых лучших в моей жизни:
а было их немало у меня.

XXIV. Баллада об Обыкновенных Вещах

1

Думаю, каждый имел хоть однажды то странное чувство,
будто все вещи вокруг, но особенно те, что близки —
с нами они день и ночь, как бы тоже семью составляя,
больше значение их, чем квартиры простой интерьер, —
жизнью отдельной живут, если пристально к ним присмотреться,
и только делают вид, что бездушна их вещная суть:
тайно за нами они из квартирной тиши наблюдают,
но едва взглянешь на них, они тотчас отводят свой взгляд.
Это легко объяснить: ведь мы в снах с ними часто встречались, —
и как нельзя доказать, что реальность отсутствует в снах,
так невозможно решить, что чужды осознанию вещи:
просто сознание их запредельно, как древних богов.
В этом любому из нас до смешного легко убедиться:
нужно не больше, чем стать хоть однажды совсем одному:
не потому, что людей, вас понять и утешить способных,
не оказалось вблизи, — потому, что никто из людей,
шире, никто из существ, называемых нами живыми,
выдержать просто б не мог наш холодный задумчивый взгляд.
Тонкой подобно игле, он скользит сквозь феномены мира,
нет на земле ничего, что б смягчило его остроту:
ненависть, страсть и любовь, равнодушие, страх, любопытство, —
все перечислить нельзя, что никак не задело его, —
самое страшное здесь, что при всем том размахе полета,
что нам дарует наш взгляд, он привносит щемящую боль
в сердце: ее не унять, — бесполезно познание мира,
если чревато оно чувством в сердце засевшей иглы.
Вот в тот критический миг и спасут нас безмолвные вещи:
только они до конца наш холодно-убийственный взгляд
выдержат — и с добротой, недоступной животным и людям,
их — как домашних зверей мы уже никогда не покинем, —
даже однажды поняв, что на нас они смотрят давно
как на особую вещь — да, на вещь и ни больше, ни меньше:
просто в ней больше, чем в них, разных качеств занятых и
свойств.
Ясно теперь, почему, когда мы наблюдаем за ними,
кажется странным для нас, что бездвижны они и молчат.

2

Иногда каждому из нас приходится быть одному: не потому, что рядом не оказалось человека, который мог бы нас понять, а поняв, и простить, нет, не поэтому, а потому, что никакой человек и даже никакое живое существо не смогли бы выдержать столько холодной и отчужденной задумчивости, которая сквозит иногда в нашем взгляде, когда мы думаем, будто увидели, наконец, жизнь без иллюзий и без прикрас, этот взгляд – как будто стараешься проникнуть вовнутрь иглы, однако продолжаешь скользить по ее блестящей поверхности, быть может, подобный взгляд был у Иннокентия Смоктуновского, когда он играл князя Мышкина, а может и нет, неважно, – так или иначе, этот взгляд лучше всего выдерживают предметы неодушевленные, и потому надо быть им за это благодарным, а значит, относиться к ним по меньшей мере как к домашним животным или еще лучше – как к близким людям, то есть проявлять к ним любящую доброту и не расставаться с ними до последнего, – пока мы сами не уйдем туда, откуда они нам смогут только сниться, – и не обижаться на них, если в один прекрасный момент мы вдруг догадаемся, что и вещи давным-давно смотрят на нас как на одну из них, то есть как на одушевленную вещь, – не оттого ли, если пристально наблюдать за ними, нам кажется всегда немного странным, что они молчат и не двигаются?

В поисках объяснения этого любопытного феномена нам придется допустить, что вещи притаились и делают вид, что не замечают нашего пристального за ними наблюдения, и лишь при более внимательном размышлении мы поневоле вспомним ту простую истину, о которой не уставал повторять еще Будда, а именно: что мы сами не более, чем вещи, только бесконечно более сложные, вещи, состоящие из «агрегатов» тела, ощущений, восприятий, представлений и мышления, их комбинации беспредельны, но суть от этого не меняется.

Да, мы – одушевленные вещи, не больше, но и не меньше, и то, что обыкновенные, то есть неодушевленные вещи об этом давным-давно догадались, есть всего лишь элементарная логическая закономерность, а наша так называемая индивидуальность ничего ровным счетом не доказывает, потому что и любая решительно вещь, любое растение и любое животное, любой минерал и любой пейзаж, даже любая минута дня и ночи в конечном счете неповторимы, а стало быть, и индивидуальны, – оттого-то и выходит, что мир, понятый как «факультет ненужных вещей» (Ю. Домбровский), продолжает оставаться по крайней мере столь же великим и загадочным, как и мир, сотворенный Господом Богом, – итак, все без исключения суть вещи, – музыка Баха: изумительная духовная вещь, без которой дня нельзя прожить и которая упраздняет за ненужностью многие другие, подобные ей духовные вещи; ночное звездное пространство: еще более колоссальная, потрясающая, но совершенно чужеродная нам, людям, вещь; время: самая непостижимая в мире вещь; мироздание предвечное: одна очень странная вещь; мироздание, возникшее из Первовзрыва: другая и не менее странная вещь; многочисленные гипотетические измерения реальности: вещи не для нашего ума; гномы и эльфы: вещи между воображением и действительностью; любовь: вещь, которую каждый понимает по-своему; секс: вещь, которую каждый испытывает приблизительно одинаково; буддийская медитация: самая сложная и subtilная в области человеческого сознания вещь; болезнь, старость и смерть: три общеизвестные, родственные между собой вещи; свет: вещь; и тьма: тоже вещь; кастрюля: самая обыденная в мире вещь; и оригинальная мысль: тоже вещь, но не совсем обыденная; далее, человек в пределах одной жизни: одна вещь; а человек, взятый в круговороте своих инкарнаций: другая вещь; и тот же человек, пребывающий после смерти вечно в астрале: третья вещь; так что и мысль, утверждающая возможность этих взаимоисключающих решений: вещь; как и другая, настаивающая на их невозможности мысль: тоже всего лишь вещь, – итак, все без исключения суть вещи.

И в этом нет ничего унижительного, напротив, под вещью мы подразумеваем всего лишь замкнутый на себя феномен и по этой причине внутренне вполне завершённый: не имеющий, строго говоря, ни начала, ни конца, – ведь начало и конец суть только формальные условия существования завершённого в себе феномена, сам же по себе феномен безусловен, и оба эти антиномических момента – условный и безусловный – сводят с ума человеческий ум, потому что они, собственно, не его ума дело, и постичь их нельзя; ведь ясно, к примеру, что мы не могли бы существовать без наших родителей, но наша сущность от них независима, и сколько ни рассуждай на эту тему, дальше сказанного в этих двух фразах не пойдешь, – то есть все в мире, с одной стороны, возникает и исчезает, как облако в полуденной лазури, но и все в мире, с другой стороны, вечно и неизменно, как то же облако, запечатленное на полотне мастерской кистью, – поэтому вещи не нуждаются ни в объяснении, ни в оправдании, их странно отрицать и еще более странно утверждать, они скромны, как полевые цветы, но и исполнены собственного достоинства, как незабвенный граф де Ла Фер (Атос), так что и субъект, и объект вкупе с их игривыми вариациями суть не более, чем мнимо противоположные вещи, а мир, из них состоящий, есть факультет ненужных или нужных вещей, без разницы, ведь обыгрывание названия чьей-то книги – тоже пустая, по большому счету, вещь.

И вот, когда все вокруг в пробужденном сознании становится вещами: решительно все, без какого-либо исключения, тогда и наступает состояние, при котором кажется, будто не к чему больше стремиться, потому что любое стремление вкупе с его результатом есть всего лишь вещь, без которой можно вполне обойтись, но можно и не обходиться, потому что жизнь без стремлений – если она вообще возможна – тоже не более чем вещь, хотя и самая субтильная и загадочная, то есть в состоянии медитации приходится постоянно и заново освобождаться от жизни как таковой, проявления которой, как легко догадаться, беспредельны, – и это освобождение сродни плаванию против течения, и вот оно-то, быть может, только и делает медитацию тем, что она есть по сути, то есть точечным круговоротом самых субтильных душевных энергий, – в самом деле, ведь все, что нам суждено достигнуть при напряжении всех наших сил и в пределах этой нашей жизни, есть уже и заранее обыкновенная вещь, и никогда она не будет больше и значительней той вещи, которая есть у нас сейчас, то есть нашего теперешнего состояния, пока мы ничего не достигли и ничем в жизни не стали, – и точно так же не о чем нам жалеть, потому что то, что мы потеряли, есть лишь вещь, равная всем вещам, которые у нас остались, все суть вещи, как же мы раньше об этом не догадывались? и потому, пытаясь скрыть это слишком явное внутреннее превосходство вещей над нами, мы, вместо того, чтобы самим стать тем, чем мы есть на самом деле, то есть вещью, подстраиваем вещи под себя: например, игриво представляем себе, будто они вот-вот сдвинутся с места или оживут под нашим пристальным взглядом.

Это, конечно, своего рода магия: так волшебник Сокура из прекрасного фильма о седьмом путешествии Синдбада оживлял скелет; здесь корень дьявольщины, но здесь же и механизм веры во все Высшее, потому что жить в мире вещей не только не просто, а очень даже трудно, точнее, почти невозможно, – в мире вещей можно только медитировать: о чем? да о тех же вещах, о чем же еще? но тот, кто хочет жить, не удовлетворяется одной медитацией, и потому он вынужден разрушать святые скрижали вещей, чтобы из их чрева на свет божий вышла иллюзия, будто люди и животные, боги и демоны, духи и инопланетяне, и вообще все, все, все – есть что-то иное и большее, чем просто вещи; вот жизнь и есть эта иллюзия быть больше, чем просто вещью, но в иные моменты – странные, необъяснимые, гамлетовские моменты – жизнь, точно помня о своем возникновении из вещи, вдруг замирает в чьем-нибудь особенно внимательном и пристальном сознании, отражаясь в остановившемся зрачке как вещь, – и тогда наступает состояние великого, последнего и необратимого удивления.

Быть до такой степени удивленным – значит видеть жизнь и все в жизни как вещи, то есть в аспекте чистого бытия, – беда лишь в том, что это нисколько не мешает нам жить дальше и как

ни в чем ни бывало, а тем самым происходит накопление «факультета ненужных вещей»: ведь каждое мгновение жизни создает тысячи новых вещей, и весь вопрос только в том, будут ли они когда-нибудь до конца осознаны, если будут – хорошо, и тогда мы испытываем блаженство великого и последнего удивления, если же нет – тоже не страшно, поскольку неосознанность жизни есть точно такая же вещь, как и полная ее осознанность, – первая не мешает второй и может существовать сколько ей угодно.

XXV. Баллада об Ахиллесовой Пяте Поэзии

1

Часто поэтов не жалуется власть,
ибо предельно им малую часть

целостной жизни дано показать:
жанра стихов такова уже статья.

Только лишь мысли да чувства одни
в недоумении ночи и дни

с рифмой игривой должны проводить:
вместо того, чтоб воистину – жить.

А между тем каждый хочет тиран —
царь ли, король, император или хан —

общий у всех здесь властителей нрав,
каждый властитель отчасти здесь прав —

чтоб злодеяния в мире его
были чуть-чуть не «от мира сего».

Волю Истории в них показать
и – злую волю свою оправдать,

вот о чем втайне мечтает тиран:
царь ли, король, император или хан.

Этого сделать не может поэт —
ведь у искусства его слабый свет.

Снова творя как бы из ничего,
ложное он создает волшебство.

И хоть и есть в нем закваска творца,
трудно поверить в него до конца.

Там же, где к образу веры в нас нет,
гаснет искусства великого свет.

Правда, останется после него
второстепенное, но – мастерство.

Жить с ним и в нем до конца обречен,
точно с пятой Ахиллесовой, он.

2

Деспотическая власть потому недолюбливает поэтов, что чувствует в глубине души – а у такой власти, как и любого демона, тоже есть душа – что поэтический дар по природе своей слишком односторонен, чтобы охватить жизнь во всей ее существенной целокупности, а именно это для демона власти есть вопрос жизни и смерти: ведь ничто в мире не бывает случайным, и если в тот или иной исторический момент и в той или иной отдельно взятой стране бразды правления захватила кровавая элита или единоличный тиран, то и для этого есть какие-то глубокие исторические основания, но вывести их на свет божий, а главное, оправдать их на весах бытия – то есть перед лицом вечности – может только художник, настоящий художник, и как правило, в жанре прозы: лирическому поэту такая задача просто не по плечу, – и вот демон власти инстинктивно тянется к таким художникам, заигрывает с ними, всячески поощряет их совершить великое таинство художественного преображения жизни – в данном случае, обремененной многочисленными и чудовищными жестокостями – дабы самому в качестве того или иного персонажа или, на худой конец, в «атмосфере между строк» обрести последнее оправдание, а с ним и вечное бытие.

Да, демон власти, демон-provokator, демон-убийца знает, что перед судом морали ему никогда не оправдаться, поэтому он заранее презирает и ненавидит этот суд, предпочитая ему высший суд (прозаического) искусства, а поэтов, даже самых талантливых, он причисляет к апологетам морали и, нужно сказать, не без некоторого основания: ведь поэты не могут создавать законченного образа человека, их удел творить лишь образные чувства и мысли, а это еще не все, это, как говорится, «на любителя», это очень редко проходит сквозь игольное ушко последнего преображения и оправдания жизни.

И потому, когда разгорается смертоносный конфликт между оппозиционной лирикой и деспотической властью, и первая оказывается в положении голубя в когтях коршуна, не следует все-таки забывать – исключительно справедливости ради – что и на нем, этом душевно чистом и трогательно-невинном, как голубь, участнике конфронтации, лежит некая малая и, если угодно, мистическая вина – злые языки вообще поговаривают, что никакая противоборствующая сторона не может быть вполне невинной – вина однострунного озвучивания жизни.

3

Нет большей радости для праздного поэта,
чем, Бога предварительно лишив его опор,
и совести протест оставив без ответа,
затеять с ним пустой и бесполезный спор:

для вида упрекнуть его в страданиях мира,
для вида Гудвином-волшебником назвать,
для вида сотворить в нем ложного кумира, —
чтобы для вида его с гордостью свергать.

А главное – чтоб в Ахиллесовой отваге

в том поединке страшном с честью лечь костями:
хоть только с тенью и хоть только на бумаге,
поднявшись над собой, но больше – над людьми.

4

Допустим, что окружающие нас вещи действительно созданы богомтворцом, но тогда следы творения должны как-то в вещах присутствовать: скажем, наподобие высокопотенцированных гомеопатических лекарств, практически не содержащих уже действующее вещество, – эти следы поэтому невозможно выявить в чистом виде, как это пытаются сделать философии и религии – ведь они неотделимы от вещей, как сознание от мозга, но их нельзя обнаружить и в глубине вещей, потому что они иноприродны вещам, как сознание иноприродно мозгу.

И вот тогда иным энтузиастам приходит в голову гениальная идея перетряхивать имена вещей до тех пор, пока в результате тряски ни начнут сыпаться из их чрева разного рода иррациональная отсебятина: так заезжий гастролер перетряхивает свои карманы и оттуда с завидной закономерностью являются платки, карты, красочные шары, яйца и даже голуби.

Эту иррациональную отсебятину принято еще называть «откровениями свыше», процесс перетряхивания зовется «поэзией», а энтузиастов-фокусников именуют «поэтами», – и все-таки приходится допустить, что иные из них – о графоманах речи нет – в виде строжайшего исключения и на самом деле говорят языком богов, или по крайней мере, языком Орфея: математическим доказательством такого предположения является тот факт, что они нисколько не стесняются, когда читают свои стихи публично – они в этот момент подобны Адаму и Еве, которые еще не знают, что они нагие и что им поэтому должно быть стыдно.

5

«Тихо заснуть – и спросонья
слышать, как годы прошли,
и как в лицо твое комья
грубой упали земли, —

а потом жить, как спросонья,
помня, как годы все шли,
и что тебя только комья
ждать будут грубой земли».

Сказано чуточку лживо:
смерть в снах увидеть нельзя, —
так и ползет похотливо
по миру эта стезя.

Имя ей – слово поэта:
чем же оно нас взяло?
тем ли, что порцию света
лишнюю в мрак привнесло?..

XXVI. Баллада о Силе и Славе Поэзии

1. Кредо

Нет для меня поэзии высокой,
где Баха музыка подспудно не звучит,
где ощущения нет лазури светлоокой,
и полночь сонмом звезд где не молчит, —

где нет последней ясности предмета —
как этот вид привычный за окном —
где нет намека на загадку света,
где не живет ни великан, ни гном, —

где жизнь чуть-чуть мне не напомнит сказку,
суровую не упраздняя быль,
и где не помнит от свирели ласку
колеблющийся на ветру ковыль, —

где в бытии не видится проблемы —
которую не нужно обсуждать! —
и где скользить по острию дилеммы
не означает правде долг отдать, —

где жизни гимн не кажется натужным
не потому, что жизнь так хороша,
а потому что нужным иль ненужным
страданием обижена душа, —

где вечно превозносится горою
какая-нибудь тонкая деталь,
и где, послушным оставаясь строю,
не строится их к небу вертикаль, —

где холодности нет — такой роскошной
к духовной пищи слишком умных дам,
и где твердит опять поэт дотошный:
«За эту строчку я полжизни дам».

2. Индуизм

Когда, согласно древним индусским воззрениям, внутри привычной и всем понятной человеческой души живет другая душа: тайная, невидимая и как бы вечно спящая на груди у Господа, и вот обе души подобны двум сестрам-близнецам, настолько сросшимся в глубинном

своем сознании и родстве, что все, что переживает одна сестра, живо ощущает и другая, так что по мере того, как одна из них без усталости скитается по миру (оставляя в смерти бременное тело, но забирая с собой тонкие разум и чувства), то восходя в горние сферы благодаря доброй карме, то снова возвращаясь в низшие области бытия по причине ее (кармы) ослабления, другая, наблюдая за ней, и сопереживает ей до боли смертельной, и хочет одновременно ее добровольной смерти, потому что только тогда, когда исчезнут раз и навсегда какие бы то ни было телесные и духовные качества – но без них не может существовать ее младшая сестра! – исчезнет и последнее, но, увы! непреодолимое препятствие для слияния с Богом, а лишь в одном этом смысл жизни сестры старшей, – да, проникаясь благородным духом индуизма, в котором столько фантастических элементов – чего стоят сами по себе и вопреки всем физическим законам увеличивающиеся в размерах каменные коровы, или сверхчеловеческие подвиги йогов, или чудеса очищения в едва ли не самой грязной реке мира – Ганге! – и в то же время, столько жизненной теплоты и глубочайшей мудрости – разве мы физически не чувствуем в себе самих трагически-противоречивую жизнь и борьбу обеих душ-сестер? – итак, проникаясь этим живительным и чудотворным духом, мы физически не можем не ощущать в нем квинт-эссенцию поэзии, и неизвестно еще, где больше последней: во всех стихах мировой лирики, вместе взятых, или в одной этой прекрасной, но чуждой европейцам религии.

3. Буддизм

Когда Будда строит свое учение на том, что, во-первых, бытие преходяще во всех без исключения компонентах, во-вторых, что человек, исходя из этого, принципиально обречен на страдание, и в-третьих, что он не обладает на деле какой бы то ни было неизменной и неразрушимой сердцевиной – типа души или Я – однако, с другой стороны, нигде не сказано, что есть или должно быть в мире что-либо непреходящее, и это во-первых, далее, что человек как таковой и не жалуется вовсе на страдание, более того, находит в нем даже своеобразное удовольствие, видит в нем часто высший смысл и в любом случае не может представить жизнь свою без страдания, и это во-вторых, и наконец, человек на протяжении практически всей жизни ощущает присутствие в себе некоей постоянной субстанции – назовем ее душой, Я или как иначе – а то, что она (субстанция) сама незаметно изменяется или вообще имеет магическую природу, это уже другой вопрос, – итак, когда Будда строит свое великое учение на фундаменте, который он сам же создал, но создал так естественно и искусно, что нам почти невозможно отделаться от впечатления, что этот фундамент лежит в основе самого бытия, – тогда нельзя не говорить о сотворении быть может самой великой и самой загадочной в жанре религии поэзии.

4. Иудаизм

Когда еврей, согласно иудаизму, после смерти погружаясь в шеол, лишается жизни, но не вечного бытия, когда смерть и мертвые воспринимаются творцами Библии и Торы как до некоторой степени нечистые феномены, потому что иудаизм есть религия вечной и абсолютной жизни, когда не в могиле и не в шеоле обретает еврей свое бессмертие, а только благодаря единоприродности с Богом, и когда, исходя из вышесказанного, вопрос о том, что же конкретно происходит с личностью умерших в шеоле, как конкретно личная субстанция умерших соединяется с субстанцией Бога и в чем конкретно заключается последняя, даже не ставится по причине своей мелочной ненужности, потому что проблема бессмертия человека в иудаизме решается на уровне чистого бытия, то есть помимо сомнительных и спорных толкований – знать-то здесь все равно ничего нельзя до конца, – да, вот тогда-то глубочайшее сходство иных толкований Торы и Талмуда с великой поэзией Кафки бросается в глаза: и как у Кафки неисследимые в своих онтологических основах, а точнее, абсолютно нелогичные и по сути невоз-

можные Закон и Замок определяют, тем не менее, целиком и полностью жизнь целой деревни, целого города, а может, и целой страны, так в иудаизме чистое бытие, казалось бы, приемлемое только в адекватной эллинской или индусской интерпретациях, вопреки элементарной логике обрело идентичность с национальной судьбой иудеев, так что с теологической точки зрения стало возможным утверждать, что все души израильтян, существовавшие в телах на протяжении тысячелетий, были уже в Синае во время заключения союза между Богом и народом Израиля, или, как сказал Франц Розенцвейг: «Мы, евреи, были с Отцом с древнейших времен, и потому не нуждаемся в посредничестве Сына», – поэтому когда еврей во время службы вызывается читать Тору, его чтение всегда заканчивается благодарностью Богу, «вдохнувшему в нас вечность» (с напевом «мы живем вечно» евреи шли в газовые камеры), а везде, где есть вечность, помимо платоновских идей слившаяся с вещами, там есть и особого рода поэзия: именно не пушкинская, а кафковская по духу.

5. Мусульманство

Когда, следуя букве и духу Корана, личность человека состоит из тела и некоего таинственного жизненного принципа, который все мы в себе чувствуем, но о котором знать нам не дано(из чего прежде всего вытекает принципиальная невозможность каких бы то ни было драматических противостояний между душой и телом, коими так любят пробавляться иные мировые религии), когда, далее, Коран утверждает, что только Бог бессмертен и вечен, тогда как Его творение по воле Его преходяще (что вполне можно поддержать, повинаясь элементарной интуиции), когда, тем не менее, Коран учит, что жизнь продолжается и после смерти, и это начало нового бытия на неопределенное время, оно зовется воскресением, и понимается под ним возрождение к жизни целостной личности, причем дальнейшее органическое развитие нашего прежнего жития-бытия в моральном, правовом и всех прочих аспектах переходит на бесконечно более высокий уровень, хотя сказать, каким целям служит это астральное развитие и усиление земной жизни, можно только после воскресения (до чего же искренняя и трогательно-наивная постановка вопроса! сколько здесь подкупающего простодушия, так соответствующего нашему земному опыту!), и когда, наконец, Коран даже настаивает на том, что посмертное личное сознание ничем решительно не отличается от прижизненного, и разве что, многократно острее его, так что человек полностью забирает на тот свет и все свои добрые дела, и злые, и вину за них, и вообще ответственность за прожитую жизнь(здесь смысл рая и ада, здесь принятие закона кармы и здесь даже созвучие с тибетским буддизмом), – тогда, проникнувшись обаянием этой исконной восточной поэзии, почему-то переложенной в форму теологического трактата, так захочется, встретившись с каким-нибудь необъяснимым явлением жизни, произнести на всякий случай, но больше из любви к чистой поэзии, то самое простое и чудное заклятие против привидений и колдовства, которое у нас с детства осталось в памяти после прочтения замечательной сказки Вильгельма Гауфа:

Летаете ль вы на просторе,
скрываетесь ли под землей,
таитесь ли в недрах вы моря,
кружит ли вас вихрь огневой, —
Аллах ваш творец и властитель,
всех духов один повелитель.

6. Католичество

Когда бессмертие человека, согласно католической догме, заключается не в бесконечной текучести времени, где по образу и подобию реинкарнации все заново может повториться в той или иной комбинации, а состоит оно (бессмертие) в синтезе исторически обусловленной свободы человека и вызревшего исторического времени, когда наша земная жизнь мыслится не как сцена, с которой мы когда-нибудь сойдем, а как сыгранный на ней в первый и в последний раз спектакль, когда наше грешное житие-бытие не низводится до уровня зала ожидания, где мы со скукой и беспокойством ждем смертного часа, чтобы после него уже и с полным правом, стряхнув с себя прах земной, предстать перед ликом Господним и в нем упокоиться навсегда, когда благодаря свободе и делам, этой свободой порожденным, но также благодаря и божьему провидению, мы и жизнь наша никогда не обращаются в прошлое, но и никогда не становятся будущим, зато «присно и во веки веков» являются как бы вечно становящимся настоящим: подобно неповторимому движению, запечатленному в камне, – тогда самое время обратить внимание на то, что католический вариант христианства в сердцевине своей является поэзией, только поэзией и ничем другим, кроме как поэзией.

7. Протестантизм

Когда протестантизм, продолжая работать с проблемой «квадратуры круга», утверждает, что человек есть душа своего тела и тело своей души, а значит, в смерти человек подходит к границе, которую он сам же перешагнуть принципиально не в состоянии, потому что взять тело с собой «туда» нельзя, а без тела дальнейшее существование даже «там» бессмысленно, – и тогда один только христианский Бог и только в обход всех природных космических законов может – это и есть божественная благодать в чистом виде! – предоставить ему искомое и страстно желаемое соединение индивидуального сознания и вневременного существования, – тогда тоже ни о чем ином, кроме как о высоком всплеске метафизической по духу – на манер Рильке? – поэзии говорить не приходится.

8. Православие

Когда заходишь в какую-нибудь российскую церквушку: белую, выпуклую, как будто надышанную молитвами и просто добрыми взглядами встречных-поперечных, с луковичными куполами, золочеными крестами и обязательно в любое время дня и года воркующими кругом голубями, когда некоторое время стоишь как потерянный посреди кадильно-иконописного неземного очарования, смутно сознавая, что нет ничего более величественного, но и более чуждого земной жизни, чем эта внутренняя атмосфера православного храма, когда еще начинается служба: такая суровая, торжественная и не от мира сего, и люди вокруг точно съеживаются и сплюсциваются под ее воздействием, а в их взглядах, точно по команде, восстанавливается одно и то же слитное и, в общем-то, противоестественное выражение окаменевшей суеты, страха и почтения, когда ощущение и даже сама возможность любви или любящей доброты испаряются постепенно «как дым, как утренний туман», а на их место царственной походкой в человеческую душу входит мистический Ужас, чтобы там уже как на троне осесть навсегда, когда вокруг этого самодержавного деспота рассаживаются в причудливом порядке его верные слуги: здесь и слитное ощущение вечной греховности человеческой, здесь и чудо смерти и воскресения Сына Господнего, здесь и пожизненный долг за такую чудовищную жертву: долг, который, по сути, невозможно отплатить, и отсюда страх, благодарность, умиление, мисти-

ческий восторг, бездна комплекса неполноценности, а также садизм и мазохизм в размерах прежде неизвестных и немислимых, здесь и смирение, и молитва, здесь и торжество космического Парадокса, согласно которому поистине все силы и энергии Мрака, словно тень к предмету, прилепились с обратной стороны к Свету и запредельной Красоте православного христианства... нет, каков все-таки сюжет! после него и на его фоне, как точно подметил Достоевский, привычная жизнь начинает поневоле казаться пресной, – короче говоря, монументальная и всепронизывающая поэзия мистического Ужаса тогда делается настолько очевидной, что все прочее поначалу даже в голову не приходит, – и только потом и по мере пробуждения внутренней работы сознания на новом уровне начинаешь догадываться, что здесь происходит просто испытание человека на элементарное духовное мужество, и что именно самые заветные святыни, как это очень часто бывает, охраняются драконом.

9. Гностицизм

Когда гностики утверждают, что наш мир, безусловно в общем и целом лежащий во зле, не мог быть создан Богом, поскольку Бог по определению не может творить зло, а значит, мир создан ограниченным в могуществе и уж конечно не добрым в основе своей Существом (Демиургом) – тогда как Бог продолжает существовать в мире в собственном своем качестве несотворимой тонкой животворной Субстанции, лежащей в основе света, добра и красоты, и оба на первый взгляд несовместимых между собой Начала живут и взаимодействуют параллельно, – то эта концепция любому непредвзятому уму представляется настолько естественной и очевидной, что трудно даже поверить, что официальная Церковь придерживается другой и противоположной догмы, а сами гностики-катары были Папой в шестнадцатом веке начисто истреблены, – между тем, чем внимательней мы присматриваемся к миру и в особенности к каждой конкретной его вещи, тем трудней, а в пределе, даже совсем невозможно строго разграничить здесь добро и зло, свет и тьму, красоту и безобразие: как тут не заметить, что гностический взгляд на мир – кстати, легший в основу бесподобного в художественном отношении «Мастера и Маргариты» – напоминает слишком многие великолепные стихи, которые на нас при первом прочтении оказывают неотразимое воздействие, но которые лучше не разбирать по строчкам, словам и деталям, чтобы не выявилась нечаянно их глубоко не соответствующая теплой и многомерной прокладке вещей однозначная и достаточно искусственная природа?

10. Философия

Когда для всех стало уже давно очевидным, что чем конкретней задачи познания, тем удовлетворительней они решаются, а чем, наоборот, всеобъемлющей последние, тем неизбежней антиномический их результат, то есть в прямой арифметической, если не геометрической прогрессии самым важным и насущным запросам души человеческой рождаются самые неопределенные ответы на них, и ничто не может изменить этого основного закона гносеологии, – так что все известные нам философские системы, не говоря уже о мистических или эзотерических их отклонениях, суть порождения духа великой Неопределенности – а что это как не поэзия? и разве что жанры здесь не имеют ничего общего с ритмом и рифмой, – да, тогда нельзя не сделать вывод, что если есть стихотворения в прозе, то почему бы не быть высокой, умозрительной, широко развернутой, пусть зачастую малопонятной, зато всегда и заранее исключающей какое-либо однозначное решение проблемы лирике философского поиска? в конце концов, от любого хорошего философского сочинения у нас в голове остается тоже лишь общее впечатление, и оно всегда музыкального порядка: где здесь разница с итоговым впечатлением от прочитанного когда-то талантливого и запомнившегося стихотворения?

11. Положение вещей

Когда, выглядывая из окна, мы видим в миллионный раз эти дома и деревья, эти подъемные краны и купола церквей, эти облака и прогуливающих под ними людей, у нас в душе появляется одно и то же странное, субтильное и противоречивое ощущение: с одной стороны, все эти бесконечно знакомые нам вещи связаны взаимно почти семейной, родственной связью (что-то теплое, надышанное и трогательное есть в их осмысленно-бестолковом нагромождении: так родные и близкие толкуются на узком пространстве по случаю какого-нибудь формального семейного торжества), но, с другой стороны, нас тут же пронзает острая догадка о том, что каждая из видимых вещей мира сего обусловлена тысячей причин и при сбое хотя бы одной из них она не могла бы и наверняка не сможет когда-нибудь существовать, – отсюда глубочайшая внутренняя ранимость любой вещи, даже неодушевленной, об одушевленных и говорить нечего: иной раз просто внимательное наблюдение за ними вызывает боль на сердце, – и вот эта пронзительная трогательность вещей, обусловленная их преходящностью, начинает тонко контрастировать с возможностью их возвращения – да, они обречены на исчезновение, но почему, раз придя в этот мир, они не могут еще раз в него возвратиться? ведь для случая бесконечность времен не играет никакой роли, и все происходит как в одно мгновение, – и тогда вечность вещей приобретает уже не платоновскую абстрактную и необидительную для сердца природу, а вполне живую и волнующую: вот таким образом понятная и прочувствованная вечность и лежит, думается, в основе нашего самого, самого, самого первичного восприятия мира, которое иначе как глубоко поэтическим не назовешь, – и лишь потом и постепенно нанизываются на него (восприятие) все прочие мысли и ощущения.

12. Судьба человека

Когда от человека далекого и неизвестного остается после смерти просто сообщение о его существовании, от человека, вошедшего в информационное поле человечества, тире между двумя крайними датами, далее, от человека немного нам знакомого пара воспоминаний и отрывочных суждений, и наконец, от человека близкого и родного – целая жизнь, которая, будучи «с кровью» оторвана от первоисточника, начинает вести призрачное существование между небом и землей, – вот тогда, задумываясь о том, что же общего во всех этих «остатках», невольно приходишь к обнаружению некоей первичной и глубоко поэтической в своей основе связи между всем живым на земле и в «мирах иных», – а размышляя дальше об этой связи, соотносительно индивидуально мироощущению, можно придти – и наверняка придешь! – к созданию всех мировых религий и философских систем, – ну а если дальше продвигаться наощупь по этому тернистому пути, то, кажется, так и выйдешь на сотворение мира сего как на корень любой поэзии.

13. Из личного опыта

И когда, начитавшись о подвигах Будды, проникнувшись невероятной внутренней красотой его учения, убедившись, что трудней и парадоксальней этого духовного пути ничего на свете нет и быть не может – а значит, заявка на Истину подана и дело рассматривается в высших Инстанциях! – мы отправляемся по его (Мастера) стопам: то есть записываемся для начала в какой-нибудь буддийский семинар, которые повывезли в Европе точно грибы после дождя, – и регулярно посещаем его, слушаем умные доклады, прилежно медитируем на стуле или коврик, едем даже на месяц-другой в специальный медитативный лагерь и в самом даль-

нем пределе, конечно же, уединяемся ненадолго в здешнем буддийском монастыре на фоне всегда (!) изумительной природы, – но потом, когда выясняется, что во время коллективной медитации мы почему-то никогда не могли до конца подавить громкое проглатывание слюны, а в лагере ощущали странную тоску, так напомнившую нам совершенно некстати те самые, далекие и незабвенные пионерские лагеря, да и в монастыре наши соседи по кельям-комнатам умудрились создать для нас такую атмосферу, что мы за все время нашего пребывания в святом месте не продвинулись духовно ни на шаг, – итак, когда мы все это четко и трезво осознаем и подытожим, мы поначалу будем безусловно болезненно переживать наше духовное поражение, как переживал его возвратившийся домой незабвенный странствующий рыцарь Дон Кихот, однако потом... вот именно: что будет потом? странным образом история заблуждений оказалась единственным содержанием жизни сервантесовского героя, ничего другого у него не было, и если бы он не умер, а выздоровел, то ему пришлось бы до скончания дней своих жить со своими единственно правильными жизненными установками: мы, правда, разделяем их целиком и полностью, однако чувствуем в глубине души, что даже мало-мальски хорошего романа о них не написать, – и вот точно таким же прозревшими донкихотами мы возвращаемся рано или поздно из буддийских (да и любых других) приключенческих походов домой, в нашу повседневную действительность, и единственный вопрос, который отныне будет вечно висеть над нами, состоит в том, где же все-таки больше поэзии: в жизни прежней и поисковой или теперешней и оседлой?

14. Эпилог

Поэзия есть только то, что может быть,
однако в точном смысле никогда не будет:
так вековечный спор о том, как вместе жить
душе и телу, вряд ли кто из нас рассудит.

И пусть в словах об абсолютности любви —
этом венце поэзии – не много смысла,
но даже мир людской, стоящий на крови,
пронизывают умозрительные числа.

Тогда как множество таинственных угроз
нас могут ждать и в вожделенном царстве света, —
и на любой нас распинаящий вопрос
ничто, кроме поэзии, не даст ответа.

XXVII. Баллада о Поэтическом Вымысле

1

Когда обещанное роком
другому небом отдано,
и демон манит скользким оком
на богоборческое дно,

когда безумьем трезвы взоры,
а сердце бродит как вино, —
тогда... возлюбленной Изоры
дар принять другу суждено.

2

Точно ли суждено? и не выдумал ли все это поэт? ну, разумеется, выдумал: Сальери не отравлял Моцарта, Моцарт не был в близких отношениях с Сальери, и уж во всяком случае, не спрашивал его советов насчет своей музыки, но вопрос даже не в этом, а вопрос в другом: судьбоносный конфликт шекспировского масштаба между Сальери и Моцартом, как он выдуман Пушкиным, — точно ли он выше и глубже, а главное, поэтичней того скромного и поистине параллельного, без серьезных точек соприкосновения существования обоих композиторов в Венском пространстве последней трети восемнадцатого века, которое имело место на самом деле?

И если Сальери окончил жизнь в доме для умалишенных, то за гробом Моцарта тоже никто не шел, и даже не по причине якобы дурной погоды, а просто потому, что Моцарт — и особенно в последние годы — не умел и не хотел сблизиться с людьми, люди мало что для него значили, он использовал людей прежде всего как средство отвлечения от чего-то, что безумно его тяготило и было действительно «не от мира сего», и люди отплатили ему той же монетой, — да, вот как все было на самом деле, но из такого сюжета не только не вылепишь блестящей трагедии, но и мало-мальски сносного рассказчика из него не смастеришь.

А между тем, окунаясь с головой в ту эпоху, давшую человечеству его самую великую музыку (после И.С. Баха, разумеется), узнавая все новые и как бы незначительные факты — они не имеют ничего общего с концепцией Пушкина, зато всегда напитаны плотью и кровью концепции Истории — невольно выстраиваешь в собственном сознании некую конфигурацию Весов, где в одной чашке лежит Поэзия, а в другой — неприкрытая историческая Правда, — и вот, тщательно взвешивая обе чашки, с удивлением обнаруживаешь, что именно Поэзии во второй чашке больше, чем в первой, — но это та самая первичная и первоизданная бытийственная Поэзия, которая пронизывает нашу жизнь как воздух: она поистине присутствует везде, всегда и во всем, и трудно сказать, где ее больше, — но меньше всего ее, по-видимому, в стихах.

3

Когда нам так по жизни плохо,
что уж почти ни до чего,
и облегченье болей кроха
важней становится всего,

когда зверей простые чувства
в себе мы склонны узнавать, —
тогда... былую власть искусства
над нами трудно нам понять.

XXVIII. Баллада о Снежной Феѐ

1

Всю жизнь мы, если присмотреться, занимаемся пустяками, а иные действительно важные события: такие как завязывание глубоких отношений, серьезная болезнь, связь с женщиной, выбор профессии, переезд на новую квартиру и тому подобное, – они настолько редки, что мы их невольно забываем, и тогда они – не исчезая из памяти – запорашиваются в ней временем: так снегопад запорашивает острые и крупные профили вещей до уровня маскообразной величавой неразличимости того, что мы считаем важным, и того, что по человеческому разумению мы склонны относить к пустякам, – и в этом есть, конечно же, великий смысл: ибо как любые судьбоносные свершения на земле сопровождаются знамениями при помощи самых обыкновенных и повседневных вещей, и одни и немногие люди их видят и предчувствуют, а другие и многие лишь смутно ощущают, но и этого довольно, – так сходным образом в житейских мелочах, на которые мы прежде не обращали внимание, открываются вдруг для нас истины и прозрения, по своему онтологическому весу значительно превосходящие даже казавшиеся нам такие важные события, как завязывание глубоких отношений, серьезная болезнь, связь с женщиной, выбор профессии, переезд на новую квартиру и тому подобное, дальше которых, как дальше своего носа, мы долгое время не могли, как ни старались, заглянуть.

2

В невинности детских восторгов
и музыке первых свиданий,
в безмолвье нетопленных моргов
и жести больничных страданий

есть некий таинственный холод,
что сказкой вдруг ожившей веет —
но каждый, будь стар он иль молод,
открыть его тайну не смеет:

то дышит в нас Снежная Феѐ
из тьмы, как из рамы портрета, —
и так же, как парка аллея,
клоака им мира согрета,

и каждый, любя и страдая,
дыханье то легкое знает,
а добрая Феѐ иль злая —
о том он пусть сам уж гадает.



Когда под вечер тихо падает снег и во время прогулки хочется поминутно останавливаться перед фонарями, когда мутное темное небо с высыпавшимися из него мириадами снежинок окончательно слилось с землею, а это значит, что все далекое стало близким, все невоз-

можное возможным и все фантастическое реальным, когда и дети, и взрослые, и животные кажутся ненадолго членами единой общечеловеческой семьи (так что если вас кто-то незнакомый толкнет в сугроб, вы примете это всего лишь за невинную шутку), а Зло вдруг представляется совершенно невозможным, пока ложится на землю снег... да, тогда вдруг чувствуешь себя точно в первый день творения – и в душе отсутствуют любые мучительные и неразрешимые вопросы обыденного существования, – но отсутствуют они не потому, что уже решены, а потому, что еще не заданы, то есть как бы еще не созданы, еще не вошли в мир... и какое же это блаженство – не знать их и не догадываться о них!.. вот тихо падающий под вечер снег и является, быть может, наилучшим воплощением самого загадочного из всех возможных блаженств: блаженства нерожденности.

Да, вот оно, последнее откровение: не оттого, оказывается, происходит предельное блаженство, что нечто прекрасное и великое нисходит на землю – от этого тоже происходит блаженство, но как бы низшего порядка – а оттого, что оно именно не нисходит, то есть могло бы снизойти, но по соображениям высшего порядка не снизошло, явив вместо собственного рождения свою нерожденность, – например, в образе бесшумных, холодных и чистых снежинок.

И только когда-нибудь потом и неизвестно еще, в какой точно день или час творения, и конечно, тоже из вечернего снегопада – откуда же еще? – тихо и незаметно войдет в мир она, Снежная Фея, та самая, которая по образу и подобию непорочного зачатия выносит в своем чреве добро и зло, радость и боль, жизнь и смерть, – она их пока только выносит, но ими еще не разрешилась, и все зависит только от нас: если мы посмотрим на нее с восторгом и вожделением, мир станет таким, как он есть теперь, а если мы ее не увидим – ведь кругом так темно и ничего не видно кроме снежинок, кружащихся под фонарями – она с благодарностью возвратится к первому дню творения: в то блаженное состояние, когда ее самой не было, и все тогда будет непредставимо иначе.

Но нет, все произошло именно так, как и должно было произойти, потому что загадочности нерожденности предпочли мы таинство рождения... а снег продолжает падать, припорошивая ветки, заборы, крыши, фонари, снимая с них остроту и придавая им облик и ощущение вечного покоя: не так ли точно припорошивает нас время? и нельзя даже сказать с уверенностью, что малыш в нас заменился раз и навсегда мальчуганом, мальчуган необратимо стал юношей, юноша превратился во взрослого человека, а взрослый человек когда-нибудь сделается стариком, – нет, когда тихо падает снег, перед нами открывается как будто впервые и потаенная природа времени, глубоко сходная с падающим снегом, и тогда нам становится ясно, что все наши прежние (и будущие) воплощения – от малыша до старца, включая их многие производные образы, тоже часто непохожие друг на друга – не исчезли один в другом, как малые матрешки в более крупных, а продолжают жить самостоятельной таинственной жизнью, и в любой момент по желанию можно памятью отворшить кусок этой жизни, как освобождаем мы от снега тот или иной предмет.

И все-таки лучше этого не делать, потому что воспоминания возвращают нам лишь малую часть прожитой и прежней жизни, а любая составная часть, фигурируя вместо целого, неизбежно искажает и извращает последнее, – даже сама того не желая: итак, когда под вечер тихо падает снег, великое таинство нерожденности ложится не только на то, чего еще нет, но и на то, что давно есть и почти уже завершилось, то есть на всю нашу жизнь, придавая последней ту самую искомую чистоту и целомудренность, к которым она (жизнь) всегда инстинктивно стремилась, но которые думала обрести на совсем иных путях.

XXIX. Баллада о Яне Гусе

1

Нет в мире ценностей таких,
чтоб жизнь за них отдать:
не за себя, а за чужих
так трудно умирать.

А может, здесь-то и секрет
счастливого конца:
и вера вносит ясный свет
в пугливые сердца?

Красив быть должен человек
и телом, и душой:
кто в вечность совершил побег,
пожертвовав собой!

Волнист и нежен должен быть
волосяной покров,
а взгляд – который не забыть —
возвышен и суров.

Подобен эллипсу овал
прекрасного лица, —
чтоб он всегда напоминал
творенье от Творца.

Когда ж бессмертный наш герой
и лыс, и безбород,
и с очень крупной головой
едва ли не урод,

когда во мраке Пражских бань
он, платных женщин друг, —
природе отдавая дань,
не брезговал услуг, —

их, то... не просто нам решить,
стоит что за строкой, —
и можно ль подвиг совершить
с наружностью такой.

Но характерную деталь

в нем некто углядел:
он пригубить Святой Грааль
мучительно хотел.

Там, у магической черты
мирская круговерть
предел являет красоты:
то мученика смерть.

Кто хочет кровь из Чаши пить
заветную – Христа,
свою обязан кровь пролить,
иль Чаша та пуста!

Как будто шепчет сатана:
«Не больше, чем актер,
он был, а роль ему дана:
темница и костер».

2

Когда не благообразный человек с красивыми вьющимися волосами, достойной бородой и овалом лица Иисуса Христа (таким рисовали его в романтический девятнадцатый век), а толстый, лысый и безбородый, плюс к тому, в юности охотно посещавший пражские общественные бани, где женщины предлагали известные услуги, мужественно выступает против Римской церкви и, имея возможность тысячу раз спасти свою жизнь, все-таки предпочитает мученическую смерть на костре, хотя о спасении жизни путем отречения от взглядов его умоляли и лучшие друзья его, и сам король Богемский, – да, это очень трудно соединить воображением, умом и сердцем в единую картину: таким образом, чтобы внутренне понять этого великого человека – как понимаем мы наших родных и близких – нужны либо незаурядный художественный дар, либо очень хорошее знание всей его жизни, – но ни того, ни другого, как это обычно и случается с персонажами далекой Истории, мы не имеем, и потому нам приходится опять и в который раз рассматривать также и эту, весьма примечательную историческую страницу, как черновик к ненаписанному шедевру: вроде бы, материал для великого произведения искусства налицо, а как ни крути, преобразовать его в гомогенную художественную субстанцию почему-то не получается, и никакие красочные эпизоды из жизни великого Реформатора, никакие фильмы или романы о нем зияющих пробелов не восполняют, – вот такое именно впечатление бесчисленных и бесконечных черновиков к неосуществленным – и быть может, неосуществимым в принципе – художественным шедеврам производит вся наша человеческая – и в особенности европейская – история.

XXX. Баллада о Тайной Несовместимости

1. Лицо и маска

Как две параллели, согласно нашим физическим законам, никогда не сойдутся в видимых нам пределах, зато соединятся в каком-то непонятном, но молча признаваемом всеми измерении, так точно все решительно духовные реформаторы, все те, кто создали учения и даже религии, то есть выпестовали то единственное, что хотя бы может еще как-то претендовать на громкое звание «истины», – они, эти великие люди, все-таки вынуждены быть не только «носителями истины», но и параллельно выступать в роли «носителя истины», а вот это уже совсем другое дело, ибо роли по сути уравнивают всех людей, пусть не до конца.

Так в актерской игре есть главные и второстепенные роли, и так одни играют более талантливо, чем другие, зато в самом главном: перед лицом вечности, – и если, например, на минуту забыв об исполняемой роли, сравнить человека, прожившего обыкновенную жизнь и ничего в ней особенного не добившегося, с духовным реформатором человечества, то тут даже само сравнение как-то неуместно, – а если сопоставить их роли: одного – сыгравшего просто Человека, но плюс к тому еще Супруга и Отца детей, далее, Гражданина и, быть может, Защитника отечества, а также, как это обыкновенно бывает, Мастера того или иного скромного дела, и другого – Духовного Реформатора, но при этом, как правило, ни Супруга, ни Отца детей, ни Гражданина, ни Мастера, – то при таком сравнении уже нельзя утверждать, что между ними пролегает непроходимая бездна и сам нерукотворный Ход Вещей – последняя инстанция истины, ибо другой нам не дано – скорее подтверждает вышесказанное, чем опровергает его.

Во всяком случае, все мы в глубине души признаем подобное разделение ролей и живем в соответствии с ним, но если нас прямо спросят об этом, выскажемся несколько иначе и дипломатичней: быть может, здесь сквозит наше тайное восхищение перед самыми выдающимися ролями жизни, но может быть, и совсем наоборот: как никакой актер не в состоянии жить одними ролями, но должен иметь свою личную жизнь, так и мы, не довольствуясь нашими простенькими и житейскими ролями, думаем, что такая жизнь есть у Духовных Реформаторов и пытаемся им даже некоторое время подражать, как правило, безуспешно, – во всяком случае, если и может быть разрешено это противоречие, то за пределами нашего земного мира: там, где как будто бы сходятся параллельные прямые.

2. (М.В. Нестеров. Под благовест)

Во мгле, забрезжившей окрест,
безмолвно схимники шагают,
и под вечерний благовест
премудрость божью постигают.

Их двое, первый – впереди,
сухой вышагивая тростью,
из юной гонит прочь груди
природы ласковую гостью.

Второй – согбен, как монастырь,

от лет, молитвами сожженных,
еще внимает сквозь псалтирь
дымку березок обнаженных.

А мир, забыв и о себе,
и о блаженстве вечной сени,
капризной отдался судьбе
и своенравности весенней.

3. Притча об Учителе и Ученике

«Вы же прекрасно понимаете, молодой человек, что раз существуют вещи, причем такие сложные, как мы с вами, то должен существовать и Тот, кто их сделал», – сказал Учитель с той бесконечной теплотой во взгляде, которая, казалось, учла все возможные возражения и которая поэтому готова изливаться на Ученика без каких-либо ограничений, присно и вечно, подобно солнечной теплоте и свету. «Да, вы правы, дорогой учитель, Творец должен быть, но ведь все дело в том, что для творения разницы между бытием и небытием Творца никакой нет, потому что оно, творение, и по природе Творца, и по природе творческого акта, и по собственной природе так же мало может знать о своем создателе, как знала Анна Каренина о Льве Толстом», – для вида немного задумавшись ответил Ученик, – и во взгляде его появилась та ответная, притворная и не уступающая учительской теплота, которая лучше всех прочих факторов демонстрирует изначальное, затаенное и непреходящее соперничество между Учеником и Учителем, – и сколько бы ни продолжался подобный диалог, метафизический его финал – то есть вполне соответствующий внутренней логике – заранее известен: это знаменитый безмолвный поцелуй Учителем Ученика как триумф Парадокса, – только он один может положить конец этому всем давным-давно надоевшему, а больше всего самим его участникам, спектаклю, а до тех пор, пока это не произойдет, Учитель и Ученик, продолжая разыгрывать знакомую наизусть сцену, будут оставаться намертво друг к другу вечным сюжетом учительства привязанные, – точно каторжники к галерным веслам.

4. Баллада о поиске Истины

Истину свойственно людям искать,
чтоб ее ближним потом преподать.

Так возникает Учителя роль:
Мастер ведь выше, чем даже король.

Верно. Однако, с другой стороны,
если лишь роли играть мы должны,

то ведь не важно, кого нам сыграть,
важно – умение в игре показать.

Лучше в простом эпизоде блеснуть,
чем, воплощая сюжетную суть,

ложный однажды позволить нюанс.
Тонкий возникший в игре диссонанс

скомпрометирует весь и сюжет.
Ибо один только в мире предмет

не в состоянии в принципе лгать:
музыкой стали его называть.

Также в искании истины есть —
если оно претендует на честь —

истине этой, как в школе, учить,
как бы тщеславия тонкая нить.

И потому только тот из людей
непревзойденность своих мне идей

сердцем докажет – отнюдь не умом —
память земная исчезла о ком.

Там же, где памяти суетной нет,
гаснет пустой честолюбия свет.

Есть и постскриптум к балладе моей —
с ним не забудет читатель о ней.

Небезопасен ученья рецепт:
свой и единственный может адепт

необратимо сюжет потерять.
Он ведь учителю вздумал отдать

самое ценное, что он имел.
И – как творец удалился от дел.

Мастера сделал своим он творцом.
А вот началом иль, может, концом

было решение адепта сего,
мы не узнаем, скорее всего.

5. Прислушиваясь к мнению авторитета

Если одно из главных духовных – хотя и литературных тоже – завещаний Пушкина для каждого из нас состоит в том, чтобы в одной фразе постараться выпукло и зримо выразить суть проблемы, в нескольких предложениях попытаться обрисовать самый сложный феномен, а в умной разговорной беседе всерьез претендовать на исчерпывающее обсуждение главных

вопросов жизни и смерти, то следует предположить, в том гипотетическом и крайне любопытном случае, если бы Пушкина спросили, скажем, насчет основного отличия между Иисусом и Буддой, наш первый поэт, судя по всему, подумав, заметил бы, что один – лицо драматическое и действовавшее на узком историческом пространстве, тогда как другой – фигура эпическая, задействованная на гораздо большем игровом пространстве, прибавив еще, пожалуй, что все это поистине вопрос жанра и ничего больше, – и он был бы тысячу раз прав.

XXXI. Баллада об Осеннем Пейзаже с Человеком

1

Когда фонари между деревьев напоминают старинные лампы с абажурами, когда даже безоблачное небо кажется ближе, чем то же небо в облаках и тучах, но весной или летом, когда стволы деревьев черны от сырости, а листья перед тем, как сморщиться и упасть, обретают удивительную красоту и трогательность, и падение одинокого листа, кажется, слышно в соседней улице, – да, в такие волшебные вечера пейзаж с деревьями вдоль дороги и фонарем посередине напоминает декорацию камина, и вся природа, а с нею и весь мир в первый и в последний раз в году становятся интимными, домашними, и конечно, можно было бы сказать, что страдать и умирать в это время гораздо лучше и легче, чем в другие месяцы, точно так же, как страдать и умирать лучше и легче дома, чем в больнице, – но ведь это само собой разумеется...

Октябрь с чернеющих ветвей
тона последние смывает,
и в мертвой графике живеи
себя природа забывает —

пока опавшая листва,
дождливым сумраком томима,
блестит, как мокрые дрова,
на декорации камина.

2

И напрашивается нам тогда в душу одно и то же, повторяющееся из года в год сравнение: себя с деревом – в том смысле, что дерево, очевидно, не чувствует боли, когда теряет листья, и даже не испытывает трагедию, если ему отрезают ветви, – так почему же мы так страдаем и переживаем за болезнь отдельного органа, хотя без сожаления расстаемся с собственными ногтями и волосами? и вот оно, это сравнение, после внимательного созерцания осеннего ландшафта раз и навсегда входит в наше сознание, укрепляется в нем, и растет дальше подобно юным побегам, – но куда же? в каком направлении? очевидно, в том единственном и достойном звания человека, которое заключается в признании существования в жизни человека – явной, но еще более тайной – некоего ствола, который никоим образом не идентичен с человеческим телом, и даже с его мыслями, чувствами, намерениями, этот ствол принадлежит человеку, более того, он становится его единственной опорой, когда приходит час смерти, и в то же время тот великий невидимый ствол принадлежит не ему одному, но человек таинственным образом делит его с другими людьми, а может и другими живыми существами, – в этом и только этом сознании заключается, в конце концов, основа любой человеческой святости...

Суровый бор стенаньем сосен
читая миру свой псалтирь,
встречает северную осень,
как богатыря – богатырь,

и, преграждая путь к покою
у всех живых существ окрест,
над беспробудною рекою
чернеет косо старый крест.

Но левитановская осень —
она как тихие слова,
что шепчет в блекнущую просинь
оцепеневшая листва,

в то время как под облаками,
едва касаясь здешних мест,
как Пастырь кроткий над веками,
неспешно веет благовест.

3

И потому когда эти последние, то есть все телесное и все душевное, под воздействием времени начнут сморщиваться и осыпаться, подобно осенним листьям, для самого по себе ствола это не имеет абсолютно никакого значения, и более того, этот естественный процесс является как раз самым надежным залогом будущего предстоящего неизбежного тотального обновления, в самом деле, подобно тому, как только конкретные выражения тех или иных неприятных черт характера человека в поступках и словах оказывают на нас решающее эмоциональное воздействие, тогда как сами черты характера, будучи первопричиной этих слов и поступков, не вызывают нашего прямого отторжения и мы их с шекспировской широтой взгляда на жизнь принимаем и даже вполне оправдываем, то есть когда нам говорят, что тот или иной человек скуп, ревнив, завистлив или злобен, мы понимающе киваем головой, и лишь когда нам вплотную приходится сталкиваться с красочными проявлениями скупости, ревности, зависти или злобы, мы с отвращением отворачиваемся, — так точно с некоторым гербарийным пристальным любопытством склонны мы засматриваться на высохшие и мертвые ветви и сучья еще живого растения, — но уже высохшие и мертвые листья на тех же ветвях и сучьях вызывают в нас некоторое тонкое и необъяснимое раздражение, и мы инстинктивно тянемся оборвать их, — чтобы продолжать как ни в чем ни бывало любоваться профильной оголенностью умерших веток без листьев: нас привлекает в них некая магия, но природа любой магии универсальна, — и потому, раз почувствовав ее в оголенной ветке на фоне осеннего неба, без труда начинаешь улавливать ее в любой точке и перспективе универсума...

Ты видишь, как издалека
зловеще шуруется прохожий,
как бы не слишком, а слегка
в промозглой тьме с собой не схожий?

Ты слышишь звуки увертюры,
что, раздвигая мглу тумана,
ряд тускло оживших гравюр
выводят прямо из романа?

Внимаешь песням ты без слов,
в которых тлеющие листья
уводят нас в провал углов, —
точно под рембрандтовской кистью?

Тогда поверь, что ночь и даль
лазури тихую мансарду
хранят, где светлая печаль
нас ждет с улыбкой Леонардо.

4

Быть может, последняя чем-то напоминает рассказ о человеке вместо самого человека, и потому только нам особенно близка, – вот почему и взгляды беспощадно страдающих людей становятся предельно выразительными не тогда, когда они страшно и пронзительно кричат о своем страдании, а тогда, когда они (люди), напротив, делают все от них зависящее, чтобы показать, что они о нем (страдании) забыли и даже пытаются жить, точно его с ними нет, и вот эта полная непричастность страданию, причем мнимая или искренняя, совершенно неважно, если она правдоподобно сыграна, точь-в-точь как у животных способна умирить до слез...

Осенний лес, как кроткий нищий,
отдав земле остаток сил,
не о тепле и не о пище —
но о забытии лишь просил,

о том забвеньи же невнятном
холодный дождик моросил,
и мир о чем-то непонятном —
да и том уж не просил...

5

Когда небо в октябре становится бледным, далеким и застывшим, когда тоже бледными, далекими и неподвижными кажутся облака, когда вслед за ними и воздух делается холодным и бездвижным, и листва стынет в нем, а солнечное холодное сияние облегает ее, точно невидимое стекло, когда листопад ускоряется на глазах и в городе начинает пахнуть прелой растительностью, а в городских парках открываются вдруг забытые дали и перспективы, так как с каждой оголенной веткой высвобождается невидимый прежде угол дома или часть улицы, когда вид далекого неба сквозь оголенные деревья привносит тревожную ноту, когда гудит весь день ветер, и солнце то сияет с каким-то протяжным мрачноватым звоном, то сквозит в облаках, как нарисованное, когда из неба время от времени, подобно фантастической симфонии, разливаются странно неравномерные, неравноцветные и неравнозначные солнечные лучи, топя город в рефлектирующем нервозном сиянии, когда в половине шестого уже темно, и темнота эта не прозрачная и звонкая, как весной и летом, а густая и выпуклая, так что и бледный половинчатый месяц на ее фоне наливается буквально с каждой минутой серебристым блеском, и небо в течение какого-нибудь получаса теряет свое светлое очарование, делаясь сначала серо-лиловым, потом фиолетовым... и тут же появляются звезды, и когда, наконец, прогуливаясь

по городу и стараясь не наступать на кленовые и каштановые листья, замечаешь, что ближняя сторона тротуара темная, а дальняя светла отражениями витринного ряда, и если подует ветер, то на тусклом асфальте обязательно зашевелиятся тени от ветвей или занавесок, – короче говоря, в такие дни рождается в душе один и тот же вечный вопрос, а именно: поэтическое восприятие осеннего пейзажа, ну, скажем, такого рода:

Как бы застывшим полувздохом облака
немеют в холоде невыплаканных синей,
Пустого парка обгоревшая строка
томит последней дорисованностью линий.

Точно придуманные женские глаза
ласкает в окнах ускользающая просинь.
И как от музыки безбольная слеза
ложится на душу теперешняя осень.

И кажется тогда, что будем вечно быть,
а если жизнь, как этот год, и прекратится, —
то лишь чтоб уж ничто с тех пор нам не забыть,
и чтоб уже ни в чем с тех пор нам не забыться...

Или что-нибудь подобное, – итак, это поэтическое восприятие осени изначально пребывает в душе, наподобие платоновских идей, или под магическим воздействием ежегодно засыпающей природы человеческий дух заново и на свой страх и риск воссоздает его? и если есть возможность однозначно на него ответить, значит, вопрос был задан не совсем правильно.

XXXII. Баллада о Точном Сопоставлении

1. Перед грозой

Сонно стекленеет
плавающий зной,
все тревожней веет
темной тишиной.

В небе, где струилась
пламенная мгла,
с воздухом смешалась
сумрака зола.

Нервно встрепенулся
лист – и закоснел,
ветер шелохнулся
и – оцепенел.

Но затишье минет,
и на никлый цвет
торжествуя хлынет —
ливень или свет.

2. Добрый старый слуга

Как это ни странно, ничего нет проще, нежели отыскать определенное и, кстати, вполне удовлетворительное соответствие между явлением природы и душевной жизнью человека: на этом зиждется даже одно из основных ответвлений классической поэзии (лучше всего его выразил наш Тютчев), – и чем сложнее и тоньше пейзажное движение в природе, тем адекватней оно потаенным процессам, непрерывно свершающимся в человеческой психике, – так что в нашем случае наблюдения над довольно редким явлением летней грозы, которая может разрешиться именно не грозовым дождем, а внезапным оттоком дождевых облаков и сияющим торжеством осилившего грозу солнечного света, – оно, это чудесное явление, вполне сопоставимо, например, с важнейшим для нашего внутреннего развития моментом преодоления нами нашего главного страха, – и только тот, кто осознал до конца, насколько грозен и могуществен этот страх, насколько он держит нас в непрестанном повиновении и насколько трудно его преодолеть... и в то же время только тот, кто каким-то счастливым образом все же преодолел его – поистине здесь, помимо душевного подвига, нужно еще и стечение благоприятных обстоятельств – а преодолев, узнал на собственном опыте, что следствием преодоления всегда и без исключения является появление в душе непонятно откуда взявшегося изобилия просветленных чувств и мыслей, – да, только тот, быть может, согласится со мной.

В самом деле, наши основные – то есть врожденные и практически неустранимые никем и ничем – страхи подобны нашим же старым и верным слугам, которые, служа нам верой и

правдой, оберегают нас не только от опасностей мира сего, но и от дверей в Неизвестное, а между тем только смело и опрометчиво открыв одну из них, можно войти в новый для себя мир, тогда как другого входа туда, к сожалению, нет, – итак, наши слуги-страхи, будучи к нам приставлены от рождения, зная нас как облупленных, догадываясь своей безошибочной интуицией, что есть все же на этом свете двери, точно созданные для того, чтобы мы через них вошли, тем не менее на всякий случай и по привычке устраивают неприличную потасовку с нами всегда и без исключения, когда судьба сталкивает нас лоб в лоб с подобной дверью: и разыгрывается в тот момент одна и та же, наполовину комическая, наполовину трагическая сцена, когда мы и наш конкретный персональный страх, схватив друг друга за грудки, пыхтя и злобствуя, катаемся молча по полу, но в конце концов, как и полагается, мы берем верх, поднимаемся, перешагиваем через побежденный страх, открываем заветную дверь – там, свет, воздух и новая жизнь! – делаем шаг в только что завоеванное с таким трудом жизненное пространство, глубоко забираем в легкие опьяняющий тонкий эфир, а потом с некоторым виноватым упреком оборачиваемся к нашему незадачливому слуге, как раз поднимающемуся с пола: «Мол, что же ты нас удерживал?», однако тот, чертыхаясь и отплевываясь, демонстративно смотрит в сторону: догадываемся ли мы, что делает он это, как и подобает образцовому старому слуге, единственно из благородного побуждения – чтобы мы сами не догадались, что он боролся с нами только для вида?

XXXIII. Баллада о Гносеологии Гномов

1

Я не однажды обращал внимание на то, что выражение лица у малорослых людей как правило угрюмое, но выразительное, они избегают наших взглядов, однако, если нам случится встретиться с ними, что называется, «лоб в лоб», они выдерживают наш взгляд и смотрят на нас до тех пор испытываяще и исподлобья, пока мы первые не отвернемся в некотором смущении, – нам трудно представить себе их внутренний мир, мы не можем вообразить их мыслей и чувств, нам практически невозможно догадаться, какая у них профессия или хобби, и чем они вообще занимаются в жизни, и есть ли у них семья, и каковы их отношения с родителями, собственными детьми и между собой: да, все это для нас «книга за семью печатями», нам, разумеется, и в голову не придет спросить у них, который час или как пройти туда-то, и они нас тоже никогда об этом не спросят, – мы живем с ними на одной земле, но как бы в параллельных мирах, точно с инопланетянами.

Итак, мы ничего о них не знаем, но если бы нас спросили об их мировоззрении в целом, мы, пожалуй бы, сказали, что эти люди скорее всего не думают о жизни в целом, но всегда о тех или иных ее частностях, и это, быть может, в первую очередь отличает их от нас, «простых смертных» и обыкновенных людей, когда же человек не думает о жизни в целом, трудно себе представить, чтобы он понимал, что такое смерть, ибо поистине смерть есть всего лишь обратная сторона жизни в целом; а там, где нет ни жизни в целом, ни ее противоположности – смерти, нет и развития, нет жизненных фаз, нет тайны возраста, – нам и в самом деле невозможно вообразить таких людей как малыми детьми, так и глубокими старцами: они точно родились малорослыми крепышами с обильной растительностью на лице и угрюмым выражением физиономии, просто в детстве они были крошечными экземплярами описанной породы, а потом, с годами лишь увеличивались в размерах, не меняясь нисколько по существу, словно маленькие матрешки исчезали постепенно в более крупных матрешках.

По этой же самой причине нам трудно себе представить их смерть, у нас такое ощущение, что они либо живут вечно, либо в один прекрасный момент таинственно и бесследно исчезают из этого мира: без смертельной болезни, без предсмертных страданий, без погребений и вообще без всего, что касается «последних вещей»; а ведь они сами должны быть тоже незаметно, но пристально наблюдают за нами и наверняка успели обратить внимание, как важны для нас эти «последние вещи» и как вся наша жизнь незримо вращается вокруг них, – и что же они должны думать на этот счет? завидуют ли они нам? или чувствуют, наоборот, внутреннее преимущество над нами? кто знает?

2

Средь нас были странные дети,
что в детстве хотели остаться, —
и вздумали помыслы эти,
как в сказке, от них отделяться.

Им грустно казалось смириться
с серьезностью будней житейских —

куда как приятней резвиться
в привольных полях Елисейских!

Там демоны, люди и боги
танцуют, играют на флейте,
а здесь мамы с папами строги,
как будто и не были дети.

Там нет ни рожденья, ни смерти,
там жители в юность одеты,
и даже заядлые черти
сияют там радостным светом.

И как под удобным предлогом
спектакль покидают в антракте,
покинули мир – но пред богом
предстали в решающем акте.

И что же: похожим на хохот
сквозь щель в преисподнюю дверцы,
а может на ангельский шепот,
идуший от самого сердца,

сказал им таинственный Голос:
«Я в лоно Мое не приемлю
до срока не вызревший колос:
вернитесь на грешную землю

и снова живите как дети,
хоть облик и будет ваш жуток,
не ангелам быть же в ответе
за ваш неразумный поступок!

Я сделаю смерть недоступной
для вашего малого роста —
но с жизнью, как страсть, неотступной,
бороться вам будет непросто!

Идите и сказку верните
душою черствеющим людям,
и жертву собой принесите:
за это мы вас и рассудим».

Изрек – и вот бывшие дети,
что мило под солнцем резвились,
в невиданных прежде на свете
волшебных существ превратились,

и – гномами разными стали,

и так же, как люди, старели,
и жить, вероятно, устали,
но смерти найти не умели.

Лишь ножкой стучали о ножку,
да глазками злобно косили,
когда мимо них по дорожке
людей на плечах проносили.

И глядя с враждой безыскусной
на бледную в лицах их краску,
все думали с завистью грустной,
что скрылись те в лучшую сказку.

3

Карлики и малые дети начинают внушать подлинный ужас, когда они способны совершить зло, во-первых, не имеющее видимой причины, а во-вторых, далеко превосходящее границы обычного человеческого воображения.

Карлики – это особый вопрос, но дети суть существа, по самому своему природному определению неспособные накопить жизненный опыт, достаточный для хладнокровного убийства, каузальность в детских злодеяниях полностью отсутствует, – и потому если оно все-таки имеет место, то кажется нам поистине сатанинским, феномен хоррора входит в мир, но любопытно, что последний характерен только для западной и преимущественно англосаксонской цивилизации, а наша русская культура – за исключением одного-единственного Гоголя – понятия о нем не имеет, тогда как дьявольский ребенок и даже кукла как ребенок в ребенке суть запатентованные герои западных хоррор-фильмов, причем на высочайшем художественном уровне, а удавшееся качество, как известно, всегда свидетельствует о несомненной, пусть и пока невидимой экзистенциальности изображенного феномена.



У нас же, русских, злое дите дальше хулигана и бандита не пошло, стало быть, подлинным хоррором в этом плане у нас и не пахнет, да и на практике я ни в западных, ни в российских детях подлинного хоррор-зерна никогда не примечал, есть ли они вообще на житейском уровне? может быть, и нет вовсе, – откуда же тогда возникли хоррор-ребенок и хоррор-кукла в западной литературе и кинематографии?

Я думаю, что они возникли из глубочайшей проблематичности существования души у западного человека: приглядитесь к лицам русского и западного человека – когда смотришь

очень внимательно в глаза русскому человеку, то как бы он ни хитрил, как бы ни вилял и как бы ни отводил взгляд, остается твердое ощущение, что, идя по этому взгляду, как по извилистому пути, вовнутрь иглы, рано или поздно придешь к его душе, в чем бы она ни заключалась, – когда же смотришь в глаза западному человеку, то как бы искренне он ни смотрел на вас при этом, ощущение существования души, стоящей за его взглядом, не то что бы упраздняется за ненужностью, но остается под громадным вопросом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.